

Константин Леонтьев

**Отец Климент Зедергольм,
иеромонах Оптиной Пустыни**



Константин Николаевич Леонтьев

Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни

«Весной 1878 года, в апреле, скончался от воспаления легких в Оптиной пустыни иеромонах Климент, в миру Константин Карлович Зедергольм. Ему еще не было пятидесяти лет от роду.

Отец Климент не был ни красноречивым проповедником, ни поражающим воображение, внешним, так сказать, телесным подвижником; он не был и одним из тех знаменитых духовников или старцев, которых руководства и советов ищут не одни монахи, но и многие миряне всех состояний и возрастов. <...>

И несмотря на весь этот ряд отрицаний, отец Климент был замечательный человек и еще более замечательный инок.

Его заслуги, его история, его роль совершенно особые и оставить их в забвении было бы величайшей несправедливостью.

Вот краткая история его жизни...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0048
III.....	.0078
IV.....	.0095
V.....	.0112
VI.....	.0133
VII.....	.0148
VIII.....	.0181

**Константин Николаевич
Леонтьев
Отец Климент Зедергольм,
инок Оптиной пустыни**

Весной 1878 года, в апреле, скончался от воспаления легких в Оптиной пустыни иеромонах Климент, в миру Константин Карлович Зедергольм. Ему еще не было пятидесяти лет от роду.

Отец Климент не был ни красноречивым проповедником, ни поражающим воображение, внешним, так сказать, телесным подвижником; он не был и одним из тех знаменитых духовников или старцев, которых руководства и советов ищут не одни монахи, но и многие миряне всех состояний и возрастов. Административную должность он не успел занять; его только прочили в настоятели одного из монастырей Калужской губернии, когда неожиданная и ранняя смерть пресекла его дни.

Отец Климент писал и печатал, но нельзя также сказать, чтоб его произведения были многочисленны или особенно влиятельны, или чтоб они имели в себе что-либо резкое, лично-характерное и вовсе выходящее из ряда.

И не смотря на весь этот ряд отрицаний отец Климент был замечательный человек и еще более замечательный инок.

Его заслуги, его история, его роль совершенно особые и оставить их в забвении было бы величайшей несправедливостью.

Вот краткая история его прежней жизни в миру.

Вместо сухого и последовательного перечня событий, вместо обычного формулярного списка некрологов, я передам на память то, что он в двух-трех беседах сам рассказал мне о первой своей молодости.

Отец Константина Карловича Зедергольма был реформаторским суперинтендантом в Москве. У него было еще несколько братьев: один из них был в последней кампании генералом в Закавказской армии и скончался немного ранее отца Климента. Вот что он мне сам говорил: «Семья наша была хорошая и почтенная, но, знаете, сухая, немецкая семья. Протестантство ничем не отталкивало меня, но ничем особенно и не привлекало. Церковная служба наша мне не нравилась. Я испытывал совершенно другое чувство, когда мне

случалось бывать в православной церкви. Религиозные потребности мои были сильны, но все, что говорили наши пасторы мне было не совсем по сердцу; все это не удовлетворяло меня. Пасторов в Москве я знал несколько, и у каждого из них был личный оттенок. Отец мой был очень серьезный человек, с немного рациональным, скептическим оттенком. Это мне очень не нравилось; другой пастор разыгрывал из себя светского человека; третий был сухой фанатик. А вы не можете себе вообразить, как фанатизм на этой холодной протестантской почве не привлекателен... Я еще не был знаком ни с учением, ни с историей православной церкви, когда уже меня начинало влечь к ней, и когда формы ее начинали мне сильно нравиться... Тут явились и побочные влияния, национальные, вовсе не духовные, но и они, по смотрению Божию, косвенно помогли мне приблизиться к истине. Было обстоятельство, которое укрепило во мне желание стать русским. В университете [1] у меня были два друга, два товарища: покойный поэт Б.Н. Алмазов[2] и Третий Иванович Филиппов[3], которые вам, и не вам толь-

ко, а многим известны. С ними мне был очень весело и приятно. Алмазов был юноша привлекательного характера, любил острить и очень смешил. Т.И. Филиппов был тогда белокурый красавец в русском вкусе; он превосходно пел русские песни. Они оба много говорили мне о русском духе, о русской народности, о русской поэзии... Однажды я сказал: «Третий Иванович, сделай меня русским». – «Для этого прежде всего надо стать православным», отвечал он. Вот это желание обрусеть косвенно тоже помогло моему обращению. Желание обрусения, симпатия к русским национальным формам славянофильского даже рода, с одной стороны, а с другой – неудовлетворенные протестантством сердечные потребности, – вот пути, которыми меня привел Господь сперва в церковь, а потом и сюда, в скит».

Сверх того, отец Климент говорил мне, что философия Шеллинга также много способствовала утверждению его, как в христианском чувстве вообще, так и в переход к вселенскому православию. Он находил, что никто прекраснее Шеллинга не объяснил миро-

вой важности христианства, как исторического момента.

Зедергольм был одним из лучших студентов историко-филологического факультета и (если я не ошибаюсь) его прочили в профессора.

Покойный П.М. Леонтьев знал хорошо и уважал молодого Зедергольма и советовал ему посвятить свои способности и свое трудолюбие университетской науке.

«Но я тогда уже мечтал о монастыре, рассказывал мне отце Климент. Я был вечером у Павла Михайловича; он сидел за лампой, так что я не видал выражения его лица. Не знаю, что он думал, когда я, возражая на эти советы его отдаться светской науке, начал ему говорить об Оптиной пустыни, о преданиях старчества, об Оптинских знаменитых духовниках, о Паисии Величковском... Я говорил долго, с жаром. Павел Михайлович ничего мне не возразил».

Присоединился Зедергольм к православной церкви в 1853 году, в августе месяце, в Оптинском скиту. В краткой летописи скита описано, как было совершено над молодым

человеком таинство миропомазания, каким утешением было это зрелище для всей скитской братии...[4]

Почему Зедергольм не миропомазался в Москве или в Петербурге, а приехал нарочно для этого в Оптиную пустынь? В вышеозначенной летописи сказано, что И.В. Киреевский привлек его к Оптиной. Он говорил молодому человеку так: «Если вы хотите узнать основной для христианства, то необходимо познакомиться с монашеством: а в этом отношении лучше Оптиной пустыни трудно найти». Имение Киреевского было в Лихвинском уезде, не очень далеко от Оптиной пустыни, и из биографии его известно, что в последние годы своей жизни Киреевский часто ездил в этот монастырь для бесед с духовниками. Он и похоронен в Оптиной, рядом с братом своим Петром[5]. Зедергольм еще юношей, в Москве, был знаком по-видимому, со многими знаменитостями литературы и науки русской. У Киреевского он был несколько времени домашним учителем. Уже будучи монахом, он часто вспоминал об Иване Васильевиче и говорил мне, что хотя все славянофилы

того времени были люди, конечно, православные по своим убеждениям, но ни у одного из них он не находил столько сердечной теплоты, столько искренности и глубины чувств, как у Киреевского. «Хомяков, говорил мне Зедергольм, был холоднее; он, разумеется, был человек тоже искренне-православный, но его диалектика, его страсть к словопрениям увлекала его до того, что он вступал в споры и с людьми православными иногда о самых существенных вопросах, противоречил и впадал в некоторые отклонения. Разговаривал он с безбожником или с иноверцем, о был вполне православный; но начинал он беседовать с православным, и как только тот сказал ему раза два «да, да» Хомякову уже становилось скучно, и ему хотелось сказать: «нет, нет, не совсем так!» Киреевский же был весь душа и любовь.

Надо заметить, что помимо всех собственно духовных сокровищ Оптиной, самый вид этой пустыни привлекателен и действует на воображение людей даже и вовсе не особенно набожных.

Монастырь построен на опушке огромного

бора; пред обителью река Жиздра вьется по лугам; в стороне (верстах в двух) видны колокольни, сады и домики Козельска. Вид со всех сторон чрезвычайно красив и как-то успокоительен, величав. Сзади эта бесконечная синева векового бора, теряющаяся вдали. Вблизи эти исполинские сосны и ели, перемешанные с чернолесьем; спереди обширные луга, река, рощицы вдали, этот городок в стороне, как-то кстати напоминающий и о «мирской жизни»... Все это на самом деле прекрасно.

Скит построен в самом лесу, очень близко впрочем от монастыря, всего минутах в десяти ходьбы. К нему идет убитая щебнем дорожка в тени великолепных деревьев. Главная дорожка случайно, или по верному художественному чувству распорядителей, идет не совсем прямо, а чуть заметно уклоняясь в сторону; от этого скит долго не виден, но потом, вдруг из чащи предстают вам скитские ворота. Они имеют вид как бы небольшого храма, розового цвета, с одною белою главою наверху. Самый выбор этих цветы чрезвычайно удачен. Это так «тепло» и красиво, и летом в густой зелени леса, зимой в снегу, из кото-

рого поднимаются суровые ели и сосны с их огромными, снизу грубо-чешуйчатыми, а наверху нежно-планшевыми мачтовыми стволами...

По обеим сторонам дверей, под этими воротами, на стене изображены почти все главные подвижники и учителя монашества: Антоний Великий, Нил Сорский, Исаак Сирий и другие. Все с развернутыми свитками, на которых славянские надписи, изречения их. Если кто-нибудь захочет тут остановиться и внимательно подумать, при чтении этих свитков, он найдет уже в них всю основную, так сказать, азбуку монашеской жизни. Внутри, со стороны скита, на этих розовых, как бы мирно-радостных приветливых воротах изображена икона Знамения Божией Матери. Под иконой есть подпись: «Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия Сохрани меня под кровом Твоим»... Кто войдя в ворота скита обернется, тот непременно прочтет эту подпись, и она на многих действует особенной силой. Отец Климент говорил мне сам, что как только увидал он эти ворота, как вошел в этот просторный, тихий и цветущий скит и

посмотрел на все вокруг себя, так и сказал себе в сердце своем: «здесь тебе кончить жизнь»...

Может быть это было и в первый приезд его, но, во всяком случае, между приездом его (в 1853 году) и поступлением в обитель (в 1862–1863 году) прошло около десяти лет мирской христианской жизни.

Не знаю, советы ли Оптинских старцев испытать себя и не спешить, или собственные соображения и наклонности удержали его надолго в миру, только он по окончании курса поступил на службу в Святейший Синод и вскоре был сделан чиновником по особым поручениям при обер-прокуроре. Обер-прокурором в то время был граф Александр Петрович Толстой (умерший в 1872 или 1873 году в Швейцарии). Мне кажется, что этот выбор светской службы был внушен Зедергольму желанием быть «ближе к церкви». Одновременно с поступлением на службу по духовному ведомству Зедергольм получил степень магистра. Он защищал в Москве диссертацию: «О жизни и сочинениях Катона Старшего», которая была около того же времени на-

печатана в Русском Вестнике и, насколько мне помнится, вызвала какие-то замечания, что не совсем полезно низводить с пьедестала великих людей. Перечитывая теперь эту ученую и очень хорошим языком написанную статью, я никак не мог понять, что нашли в ней враждебного Катону или унижающего его. Если и можно видеть в этой статье отсутствие особенного поклонения, то эта едва заметная сразу черта зависит, кажется, от того, что диссертация о великом язычнике совпала у Зедергольма, вероятно, с молодым рвением христианского прозелита, и он, осуждая Катона, удовлетворял своей потребности осудить весь языческий Рим.

При Синоде прослужил он с 1858 года до 1862; посылался в разные командировки и, между прочим, в 1860 году ездил по поручению Синода на Восток вместе с г. Соломоном [6] (теперь сенатором, а тогда служившим в Синоде) для собрания точных сведений о халкинских и афонских богословских курсах и о состоянии православных церквей и монастырей на Востоке. Некоторые из заметок и впечатлений его вынесенные из этой поездки в

Турцию и Грецию, были напечатаны в духовном журнале «Душеполезное Чтение».

Довольно любопытно просмотреть оставшуюся после отца Климента тетрадь, в которой он на скорую руку записывал свои путевые впечатления во время этой поездки. особенно интересна та часть (очень значительная), которая осталась в рукописи. В ней-то ясно видишь, в какой мере православные чувства и православное мирозерцание были и тогда уже основой его внутренней жизни. Этот московский студент 50-х годов, сын ученого реформаторского пастора, этот магистр древнеэллинической словесности филолог и автор диссертаций о Катоне Старшем, этот молодой петербургский бюрократ ничего почти не видит и не слышит на Востоке кроме православия, монашества, афонских старцев, кроме церковной истории и церковных древностей. На быть (особливо на быт мусульманский, столь своеобразный и до сих пор всем иностранцам столь мало доступный и мало понятный) он не обращает почти никакого внимания и если замечает что-нибудь мимоходом, то не иначе как с отвращением; на

древности в Афинах едва смотрит, хотя, конечно, понимать их может лучше многих по роду университетской подготовки своей и по врожденному вкусу. Споры православного новогреческого консерватора Икономоса с афинскими либералами занимали его гораздо больше всяких древностей. *Святая Афонская гора* с ее современными чудесами подвижничества была для него гораздо интереснее всех красот невозродимого к действительной жизни Акрополя. Афонской горе у него посвящено в тетради семьдесят и более страниц; Афинам – с чем-то двадцать... В нашем посольстве в Константинополе он слышал разговоры, что Россия бессильна, ибо у нее нет денег, а «как не будет денег», другие державы станут только смеяться над нашими угрозами». Зедергольм записал в свою путевую книжку, что не безденежье, а безверие губит Россию, но не высказал дипломату своих возражений.

С кем бы не говорил он, – с доктором Зографом, с г. Каратеодори, с поэтом профессором Танталидесом и другими замечательными фанариотами, он везде один и тот же человек,

все старающийся свести на мистически православную точку зрения. При свидании со знаменитым старцем патриархом Григорием VI в нем *все дрожит...*

«Когда патриарх говорил, *все во мне дрожало*: так сильно на меня действовала мысль, что я вижу Патриарха Григория – и вид и самый голос его, в котором какая-то особенная глубина, сдержанность. Доктор Зограф после говорил мне, что слова патриарха тронули его до слез, а о человек, кажется не очень чувствительный. Потом патриарх сказал, что теперь, когда мы увидим вблизи положение дел, мы убедимся, что оно во многом не такое каким представляется нам издали. Касательно нашего поручения в Халки заметил, что нужна осторожность, чтобы присылка русских воспитанников не повредила заведению и здешним христианам вообще. В течение разговора С. упомянул о новом переводе св. Писания на русский язык. патриарх заметил, что в России, православной стране, охраняемой правительством, подобное предприятие возможно, а что здесь им бы воспользовалась пропаганда протестантская и

что оно поэтому было бы опасно. Затем сделал еще несколько замечаний, смысл которых был, что для народа потребнее не перевод св. Писания на народный язык, а частая проповедь Евангелия. зашла речь о нынешней цивилизации. Патриарх сказал, что нет ничего губительнее цивилизации, основанной не на Законе Божьем, что подобная цивилизация не цивилизация, а разрушение. Потом патриарх сделал несколько общих замечаний о нашем времени. «Прежде, сказал он, греки не имели такого *сообщения* с другими народами, не было такой легкости в сближении с ними: они меньше знали иностранные языки, но в них больше держались христианские добродетели: страх Божий, вера нелицемерная, любовь; теперь греки стали образованнее и имеют гораздо больше удобств для сообщения с другими народами, но христианские добродетели в них ослабли: смесишася во языцех и навыкоша делом их. Далее патриарх указал, каким средством враг старается ослабить веру в человеке: прежде всего колеблет в нем уважение к пастырям церковным, и когда овца удалится от пастыря, тогда

она легче становится добычей волка. Затем С. предложил несколько вопросов; при разрешении их патриарх повторял, что в России, стране православной, возможно многое, что здесь было бы опасно. Спросили о причинах успеха римской пропаганды. Патриарх отвечал, что причина заключается в том, что пропаганда разрешает на все, а церковь многое запрещает. Затем патриарх упомянул о широком пути, ведущем в погибель и узком, ведущем в царство небесное. Я спросил, отчего в православном духовенстве замечается как будто менее усердия к обращению в православие, чем латинском. Патриарх отвечал, что латыни только о том и думают, чтобы увеличить число своих, а мы из обращенных желаем делать истинных христиан. После того, сказав еще раз о том, как хорошо, что Россия посылает осведомляться о положении христиан на Востоке, патриарх с любовью отпустил нас».

Что же такого особенного было в словах патриарха Григория? Собственно в речах его не было ничего нового, красноречивого, глубокого или тонкого. Все самые общеизвестные и общедоступные вещи и в самом прак-

тически консервативном духе... Но тут действовали сильно не столько смысл и содержание речей патриарха, сколько сознание «что это говорит он, тот кого я духовно и нравственно так высоко чту»... Эта ученическая вера в лицо старца и святителя, в силу высокой души, в святость высокой жизни... это чувство похоже не на умиление от красноречивой и умной проповеди, оно скорее похоже на радость при принятии в себя даров таинства.

Но вот отец Климент знакомится с богословом греком, преосвященным Тпильдосом, ректором Халкинской академии и митрополитом Ставропольским. Здесь Зедергольм говорит духовнее, православнее митрополита-ректора; и ректор, который пробовал «поставить вопрос на более реальную почву», спешит согласиться с нашим немцем... Разговор шел о том; необходимо или нет пользоваться протестантскими и латинскими сочинениями по некоторым хорошо обработанным на западе отраслям богословских наук. Зедергольм сожалел об этой необходимости. Преосвященный Тпильдос говорил, что мож-

но пользоваться от запада лишь методом, а не духом и что людей, даже и молодых, но уже утвержденных в вере, стеснять в чтении даже и философском не надо. Зедергольм, не отвергая этой свободы, жаловался на «бедность руководства и на недостаток полноты в изложении полной православной системы, которая могла бы обнять все науки (он здесь разумел только одни богословские науки, конечно) и избавили бы нас от необходимости обращаться к западным писателям..

Типальдос одобрил его и прибавил, что решения этой задачи ожидают от России, где есть и средства и люди.

«Что касается меня, продолжал я (пишет в дневнике своем Зедергольм, то я знаю, что все – объемлющая полнота познания не доступна на сей земле и будет достигнута нами в другой жизни (Типальдос заметил, что это справедливо, но, что это другой вопрос); что бедность и немощь составляют непременный удел истинной церкви, и что именно в этой бедности и немощи совершается преизобильная сила Божия; что православие живет среди всяческого неустройства и скудости имен-

но для того, чтобы было видно, что оно держится не человеческими силами и порядками, а могуществом Божиим, и что я поэтому не соблазняюсь скудостью нашей, как в других отношениях, так и в отношении к руководствам и изданиям (Типальдос несколько раз прерывал меня одобрениями). Оберегаясь подобными мыслями от соблазна, я, однако, чувствую в себе недостаточно сил, чтобы убедить тех, которые иначе думают и прошу вас сказать, как следует отвечать тем, которые соблазняются скудостью восточной церкви в сравнении с западной и заключают от сего о преимуществах последней пред первую.

«Типальдос посоветовал указать им на разговор Минуция Феликса Октавий. Язычник там хвалится перед христианином театрами, цирками и т. д. Христианин отвечает, что это предметы посторонние, когда дело идет о познании Бога истинного, и что этим человек не спасется.

«И турки, сказал Типальдос, если хотят совершить христианина, указывают на униженное состояние христиан. А мы им хвалимся.

«Мы в скудельных сосудах сохраним со-

кровище, заметил поэт Танталидес, который при этом присутствовал, – а у них, турок, один сосуд золотой...

«В котором нет сокровища, прервал я и пожалел, может быть Танталидес хотел сказать: «исполненный мерзости». – Мы знаем только Бога, продолжал я, а из остального много не знаем, а они все знают, а Бога не знают».

Можно себе представить после всего этого, как подействовал на Зедергольма Афон Его удивительная природная красота, его нагие, страшные скалы, его густые леса, его ручьи, на берегах которых растут такие исполинской ширины платаны... Обширные и древние обитатели, похожие больше на феодальные замки, чем на наши однообразные обведенные зубчатой стеною, «все белы, все с зелеными куполами и крышами монастыри»... Я знал неверующих людей или полуверующих, которые в восторге о «поэзии» Афона, от его своеобразного устройства, от самих монахов, и греческих, и болгарских, и русских... даже туркам Афон нравится.

При мне самом один турецкий жандарм, увидав Афон воскликнул с чувством: «Аллах!

Это вакуф![7] Я здесь готов работать даром!»
Знаю также одного немаловажного чиновника Петербургского, протестанта по записанному исповеданию (но, мне кажется, ни во что неверующего, кроме разных ученых, статистических, географических и тому подобных обществ)... Этот ученый бюрократ (вдобавок, несмотря на весь свой ум, Петербург за что-то обожающий) прожил довольно долго на Святой Горе, оставил там по себе очень приятную память, и сам без ума от вида Афона, от его храмов и монахов, и от всех Святогорских красот и достоинств...»

Мне кажется, что посещение Афона окончательно решило дальнейшую судьбу Зедеггольма. Беседы с духовниками святогорскими, с пустынниками и замечательными настоятелями афонских обителей, должны были оставить в уме и сердце верующего молодого человека неизгладимый след. Вот что он сам записал в книге посетителей монастыря Руссика:

«С 23 июня по 16 июля провел я на Святой Афонской горе и утешился духом, что ее святые обители представляют неисчерпаемую

сокровищницу церковной древности и святых, и образцы такой строго монашеской жизни, которая считается невозможной в других местах, что на жребий Матери Божией людей разных племен и народов работают во славу Божию, и что один из величайших современных подвижников афонских принадлежит в поучение всем, народу малочисленному и не громкому в истории гражданской [8]. Благодарю Господа и мать Божию, что я сподобился здесь наслаждаться лицезрением и беседами подвижников, подобных тем, о которых повествуется в Четых Минеях и блаженных очевидцев родных новых мучеников, пострадавших за веру в наше маловерное время. Благодарю святую Пантелеймонову обитель за оказанное мне в ней радушное гостеприимство и христианскую любовь и прошу всех святых отцов афонских помолиться, чтобы все виданное и слышанное мною здесь послужило на пользу грешной душе моей».

Мне иногда думается, что Отец Климент даже ко мне с первого раза лично расположился за то, именно, что я тоже восхищался Афоном и его обителями. Мы познакомились

летом. В семи верстах от Оптиной, в лесной глуши, есть дача, на которую ездит иногда отдохнуть от многолюдства давно уже изнемогающий Оптинский старец, отец Амвросий. Там, на небольшой зеленой лужайке построена простая, чистая и просторная изба; в ней по несколько дней проводит от времени до времени отец Амвросий. Люди однако и там находят его. Когда я посетил в первый раз Оптину, я должен был ехать на эту дачу, чтобы передать духовнику письма, которые у меня были к нему с Афона. Вокруг избы на лугу уже было довольно много народа: монахи, крестьяне, крестьянки, монахини, дамы. Длинные жерди на столбиках были заложены со всех сторон, чтобы все разом не теснились к Старцу и не мешали ему беседовать тихо с тем, кого он уже позвал.

Все терпеливо ждали: одни сидели на траве, другие стояли, облокотившись на жерди, в надежде, что Старец, проходя мимо, благословит их или скажет хоть какие-нибудь два слова. Многие, имея какое-нибудь дело, желали только одного, чтобы при начале этого дела Старец молча перекрестил их. Больше ниче-

го. Для этого многие приходят издали.

Было очень жарко. Болезненный Старец в это время ходил тихонько по лугу под большим полотняным зонтиком и разговаривал с каким-то мужиком. Они беседовали долго. Когда очередь дошла до меня, то Старец, уже утомленный ходьбой, позвал меня в комнату и там я увидел пред собою монаха небольшого роста, белокурого и с чрезвычайно приятным и веселым лицом. Это был Зедергольм; я об нем слышал еще на Святой Горе; мы познакомились и пошли вместе ходить в тени деревьев. Тут я говорил ему много об Афоне, о Турции, о греко-болгарской распри. Отец Климент слушал меня, прерывая, спрашивая, соглашаясь, и на лице его, я помню, блистала такая радость, что я никогда этого светлого выражения не забуду. Я, кажется, всеми этими рассказами и мнениями подкупил его в мою пользу, и мы стали почти сразу друзьями. Я помню, он не раз говорил мне потом с выражением сильного чувства: «Да! вы были тогда как бы обвеяны святыми местами!»

Вот ему что нравилось! Не я сам, может быть, ему нравился, а тот мысленный воздух,

который я принес с собой, возвратившись их Турции.

Я не стану выписывать сюда из краткого дневника отца Климента, где именно он был на Афоне, в каких обителях, каким святыням поклонялся; не стану перечислять всех лиц, с которыми он виделся или с которыми говорил. Дневник его очень краток; это скорее конспект для памяти, по которому сам хозяин его мог бы составить позднее хороший отчет о своем путешествии; обо всем почти сказано кратко, только для себя; но материал сам по себе так обилен, что и эти сухие выписки заняли бы здесь слишком много места.

Подробнее всего записаны у него беседы: с грузином, восьмидесятилетним старцем Илларионом, знаменитым подвижником; с другим Илларионом, греком, иеродиаконном Руссика и с отцом Анфимом, болгаринном, игуменном Зографского болгарского монастыря. С грузином Зедергольм беседует о высших вопросах: о монашестве, о подвигах, советуется с ним. С греком он говорит о состоянии Великой Церкви, преобразование которой тогда имели в виду в Царьграде. С болгаринном он

рассуждает о греко-болгарском вопросе. Все трое – люди высокой жизни. Отец Иларион (грузин), пустынный и подвижник, не уступающий отшельникам времен великого Антония и Онуфрия; отец Анфим (болгарин), примерный, превосходный игумен; иеродиакон Иларион, грек, поданный России, добрый, прямой, правдивый, оставшийся верным своим высоко-христианским убеждениям, даже и во время печальных национальных распрей последних годов на Афоне.

Зедергольм всех их видимо чтит, всех их внимательно слушает и тщательно записывает их речи в свой дневник, но пустыннику Иллариону он ничего не возражает, он только благоговеет пред ним; в беседах же с болгариним и греком он точно также, как и в разговорах своих с разными лицами в Константинополе, является нередко «plus royaliste, que le roi».

В разговоре с зографским игуменом, отцом Анфимом, о греко-болгарской распре, Зедергольм является защитником греков или, вернее сказать, Цареградской патриархии. Для него важно вековое учреждение, для него до-

рог престол вселенский, тот престол, от которого и мы, русские, получили крещение и первоначальное руководство в вере. Ему мало дела до того, что этот престол, что эта патриархия находятся в руках греческой нации, и что эта греческая нация соперничает с нами на политическом поприще. Греки, правда, и сами по себе нравились Зедергольму, он любил их язык, соединение живости и серьезности в их характере, но мне кажется, что и это расположение к нации было в нем, главным образом, основано на любви к православию, которого греки суть самые лучшие и сильные представители в среде восточных христиан. Ему дороги были все эти древние великие патриархаты, воздвигнутые на святых местах; для него драгоценны были учреждения, а к порокам людей он основатель и дальновидно умел быть снисходительным.

Зедергольм, я готов согласиться, заходил уж слишком далеко в своей поддержке патриархии; он уж слишком за вселенский престол боялся. Ему хотелось всячески утвердить и укрепить его. Ему больно было слышать о злоупотреблениях греков и быть свидетелем

раздражения болгарского духовенства. Зографский игумен отец Анфим жаловался на греков; сам отец Анфим был человек примерной монашеской жизни, один из лучших игуменов на Афоне, умный, способный человек. Он сравнительно беспристрастен; он, например, строго осуждает другого болгарского монаха, столетнего отца Виктора за его национальный фанатизм. Отец Виктор заходил так далеко в своей пламенной вражде, что выражался так: «Если греки будут в раю, то я не желаю там быть!» Отец Анфим, приводя эти неразумные речи ненависти в доказательство того, что и его соотчичи очень пристрастны и нередко несправедливы, настаивает однако на том, что греческое духовенство не исполняет своих обязанностей по отношению к болгарской своей пастве. «Греки не дают хода духовным лицам болгарского происхождения; они уверяют, что в среде болгарских священников нет достаточно образованных людей, достойных быть епископами, тогда как и греческие иерархи особою ученостью вообще не отличаются. Греки берут с болгар много денег, но не тратят из них ниче-

го на местные нужды паствы, на училища и т. п., а все отсылают в Царьград. Греческие епископы не дают себе даже труда выучиться по-болгарски; как же они могут наставлять паству?[9]

Отец Анфим не одобрял явных нападков болгарских старшин и публицистов на греческую иерархию; но в частной беседе признавал, что некоторая часть обвинений основательна.

Зедергольм не берется опровергать частные факты, но спешит и в этой беседе обобщить вопрос и перенести его на более широкое поприще *основных интересов всей Церкви*. «Не будет ли вредно для церкви вообще отделение болгар от греков, спрашивает он отца Анфима. Это отделение не ослабит ли Великую Церковь (Константинопольскую)?» Потом он спрашивает отца Анфима: «Какой исход греко-болгарской борьбы он находит наиболее благоприятным?» Ответ отца Анфима показывает, что этот афонский монах требовал для соотчичей своих еще немного. — «Пусть греки дадут нам своего независимого митрополита (экзарха), который ставил бы

архиереев в Болгарии и мог бы по временам приезжать в Константинополь. Пусть болгарские епископы имеют доступ и в Синод Великой Церкви и к патриаршеству.

На Афоне Зедергольм беседовал еще с греком Илларионом (иеродиакон) об изменениях, которые тогда вносились в административное устройство Великой Церкви. Порта, желая всячески ослабить влияние православия, стремилась ограничить и стеснить власть патриарха посредством усиления светского элемента в окружающем патриарха Синоде и удалить из него так называемых геронтов. Геронтами (старцами, старейшими) называются шестеро митрополитов: Ефесский, Дерконский, Халкидонский, Ираклийский, Никодимийский и Кизический. паства этих иерархов находилась собственно за пределами Константинопольской епархии, но жили эти митрополиты в Константинополе, как бы на подворьях среди чужой паствы и, объезжая с одной стороны свои епархии, с другой участвовали в общем управлении патриархии и представляли собой важную опору Царьградскому центральному престолу. Пор-

та стремилась удалить от общих дел этих геронтов и заменить их влияние влиянием светских фанариотов, разумеется, более покорных духу времени, чем епископы. Мирские фанариоты, со своей стороны, по чувству, естественному всякому классу людей, были, конечно, не прочь приобрести побольше влияния на дела церкви, имеющей на Востоке, кроме духовного, еще народно-политическое значение, признанное правительством. Многие из этих фанариотов, люди европейского образования, вероятно, находили самих себя даже более достойными вести церковно-национальные дела, чем эти «отсталые, застывшие в вековой неподвижности епископы старого духа». Русское посольство того времени почему-то также скорее склонялось на сторону греческих мирян, чем на сторону патриарха. Но патриарха и геронтов отстаивали митрополит московский Филарет и обер-прокурор граф А.П. Толстой[10]. Я имею под рукой литографированную конфиденциальную записку, составленную в то время в Синоде, в духе благоприятном патриархии и геронтам. Записка эта, данная мне на прочте-

ние Зедергольмом и оставшаяся у меня, по всем вероятием, составленная им самим. Несмотря, однако, на все эти возражения, геронты были удалены на второй план и только позднее, при восшествии на патриарший престол патриарха Григория VI, они снова были, по его настоятельному требованию, восстановлены в своих правах[11]. Об этих-то вопросах, об этих реформах, об этих геронтах разговаривал на Афоне грек-иеродиакон с синодальным нашим чиновником.

Вот что об этом сказано в дневнике Зедергольма: «О современных церковных делах я имел подробные разговоры со старцем отцом Илларионом. Его мысль состоит в том, что удаление геронтов, хотя отчасти оно может иметь следствия невыгодные, оправдано злоупотреблениями геронтов. Также старец игумен Герасим и иеродиакон Иларион не одобряют того, что в Болгарию архиереями посылаются не природные болгары и даже люди не знающие славянского языка. Как же могут они поучать свою паству? В этом они видят главную причину неудовольствия болгар, хотя и не отвергают возбудительных действий

римской пропаганды».

С болгаринном Анфимом и с греком Илларионом Зедергольм говорил об общих церковных вопросах; внутренний же мир его души, раскрывается пред нами яснее, когда он в дневнике своем пишет о другом Илларионе, знаменитом старце и отшельнике.

Здесь он весь, как я уже упоминал, – благоговение и любовь. Он записывал в дневнике свои мнения и возражения, когда касалось до других лиц; об Илларионе он только повествует и только записывает тщательно почти каждое его слово, забывая о *своих* мыслях при воспоминании о великом пустынноике, – Зедергольм именно в эти-то минуты является более нежели когда-либо *самим собою*, то есть человеком, желающим достигь, по мере сил, того *высшего самоуничижения во Христе, которое зовется духовным просветлением.*

Не могу удержаться, чтобы не рассказать здесь о старце. Вот выписки из дневника Зедергольма.

«Скит Святой Анны. Первое свидание с иеросхимонахом старцем Илларионом.

«Отец Иларион родом из грузинских дво-

рян. Четырех лет от роду, его взял к себе на воспитание дядя его, иеродиакон, живший в пустыне безлюдной. По воскресеньям дядя уходил в город говорить проповеди, и малютка оставался один. Случалось, что подходил к келье медведь и наводил на него страх и ужас. Двадцать лет рос Иларион в глубоком уединении, а потом родные его взяли ко двору грузинских царей. Многие в придворной жизни изумляло благочестивого юношу-пустынника. «Как же это, говорил он себе, ведь они христиане. Так как же они постоянно обманывают друг друга, злословят, проводят жизнь в неге и совершают другие дела, совсем не свойственные христианам?» Наконец Иларион возымел твердое намерение бросить мир и принять монашество. Но вскоре посвятили его в иеромонахи и сделали придворным духовником. Отец Иларион оказал важные политические услуги своему отечеству.

«Впоследствии он сопровождал грузинскую царевну в С.-Петербург. Суета столичная глубоко не нравилась ему, тем более, что он замечал, что духовная дочь его стала увлекаться общим примером, нарушала посты и

т. д. Наконец он решился тайно уйти и удалился в 1818 году на Афон.

«Здесь он отправился сначала в Ивер, но жизнь там не понравилась ему, и он вступил в строгий общежительный монастырь Дионисиат, но скрыл здесь свое происхождение и то, что он иеромонах. Несколько времени он провел в поварне, но после узнал его на Карее, приехавший из Грузии архимандрит, и по Святой Горе разгласилось, что в Дионисиате скрывается под видом простеца, иеромонах и царский духовник. Огорчился Дионисиатский игумен и стал выговаривать Иллариону. Тот, испросив прощенья у игумена, возвратился было в поварню, но там его не приняли. После этого он жил в строгом уединении сначала в пирге[12] монастырском, потом в совершенном затворе и теперь редко кого видит. Келья его скита в расстоянии двухчасовом, на холме столь уединенном, что там не слышать ни кузнечиков, ни других насекомых[13].

«Отцу Иллариону теперь восемьдесят один год. Роста он среднего, довольно плотного сложения. Черты лица тонкие и правильные.

Прежде у отца Илариона были волосы густые, длинные. Он лишился их вдруг, живя в пещере. Брови темные, густые. Борода окладистая, седая. В лице выражается совершенное спокойствие духовного человека, победившего страсти. В разговоре и обращении – необыкновенная простота. Отличительные свойства его – смирение, трогательное в почтенном старце, к которому все питают невольное благоговейное уважение, и ревность о славе Божьей. Речь его одушевленная, сильная.

«Кроме грузинского языка, отец Иларион знает только турецкий и немного греческий. Ученик его, иеромонах Савва, переводит то, что говорит старец с турецкого на греческий, а отец Иероним[14] или другие, с греческого на русский.

«Отец Иларион согласился для собеседования с нами отправиться в Руссик.

«Отец Иероним об отце Иларионе рассказал еще следующее: в 1821 году, во время восстания греческого народа, паша был прислан смирить Афон и потребовал к себе игуменов всех монастырей. Вместо Дионисиатского игумена, который побоялся идти, отправился

отец Иларион. Паша, бывший родом из грузин, вступил с ним в разговор, выразил удивление, что он пошел в монахи, потом стал хулить христианство и предложил принять ислам. Отец Иларион начал было сильно возражать, но афонские отцы остановили его и силою заставили его отойти и оставаться в задних рядах. Возвратившись в монастырь, отец Иларион рассказал все случившееся игумену, сказал, что совесть не дает ему покоя, что он остался в долгу у паши ответом на его хулы и наконец взял благословение отправиться в Солун, где находился паша, чтобы исповедать пред ним христианство. Пришедши туда, накануне байрами, он застал много гостей у паши, который очень обрадовался его приходу, полагая, что он пришел принять ислам. Но отец Иларион пред всеми гостями стал доказывать паше истину христианства и порицать ислам. Поднялся ужасный крик, и паша был принужден приказать, чтобы о. Илариона сейчас же казнили[15]. Его повели на площадь и множество народа следовало за ним. Но вдруг какие-то два офицера, в богатой одежде, выхватили его, повлекли за город и,

когда народ, следовавший за ними, отстал, сказали по-грузински ему, чтобы он скорее бежал без оглядки. Это были его земляки, любимцы паша, которые сказали ему, что казнь грузина монаха будет стыд для грузинского народа и для них, и что они оставят пашу, если он не помилует его. Паша предоставил им распорядиться, как они знают. Впоследствии отец Иларион с сожаленьем говорил о том, что он по недостойнству своему не сподобился принять мученический венец.

«Еще рассказал сам отец Иларион при мне следующее (в день нашего отъезда с Афона). Когда его выслали из Дионисиатского монастыря, он сел под кусточком и сказал своему ученику, попу Савве: «коли хочешь, иди куда тебе угодно, а коли хочешь остаться у меня будем дожидаться, пошлет нам Бог хлеба или нужно нам умереть». Ученик не оставил своего старца. Вскоре принесли им хлеба. Потом монахи Анненского скита, знавшие старца, отправились в Лавру, без ведома купили для него келью в Малой Анне, взяли старца под руки, повели его в его келью и положили ему в руку контракт (так называемая *омология*),

заключенная ими за него с Лаврою. Возблагодарил старец Господа. Сидит он в келье, а хлеба нет. наконец приходит монах из Руссика, отец Софроний, и говорит, что привез ему пшеницы десять мешков. С тех пор постоянно из Руссика доставляют старцу хлеб, и больше ему ничего не надо. Он и ученик его постоянно питаются хлебом и водою. В Понедельник 11 июля отец Макарий[16] пригласил отца Илариона пообедать с нами. Старец отказался, говоря, что день постный. Отец Макарий сказал, что если старец не будет обедать с нами, то и он не сядет. Старец согласился, и ученик его сел с нами. Старец кушал и рыбу, а отцу Савве подали без масла. После узнали мы, что за то, что он покушал рыбы в Понедельник, старец ничего целый день не ел и не пил ничего и в следующий день лишил себя причастия. К себе отец Иларион строг, а к другим полон снисходительности и любви. 2 числа за обедом отец Иларион спросил: «зачем нам не дают мяса?» 14 числа, когда я говорил ему, что С. сильно тоскует, старец сказал, что это происходит от того, что П.И. изнемог от продолжительного поста, и что, если бы был тут

баран, он готов сам изжарить его для П.И. «Мирскому человеку есть мясо не грех, сказал он. Только в пост надо потерпеть». Во Вторник, двенадцатого июля, говорил я о себе отцу Иллариону. Старец сказал, что познать истину православия – великое дело. Я сказал, что дела должны быть сообразны с верою. «Какие дела христианина? – отвечал отец Иларион. Он не должен иметь двух жен и исполнять другие заповеди, а совершать такие дела, как Антоний Великий, не каждому дано».

«Еще в Анненском скиту, когда отец Иларион видел меня в первый раз, он обратился ко мне с вопросом, улыбаясь: «отчего я отпустил бороду? Не хочу ли идти в монахи? Когда я впоследствии объяснил о своих намерениях, старец одобрил их и стал говорить о трудностях жизни семьянина и мирянина «Одно дитя глухое, другое кривое, третье хромотое, четвертое хорошее, да скоро умирает. А жена – не знаю, какие теперь бывают жены. У мирянина – жена, дети, враги; а монах ничего этого не знает. В мире надо также постоянно лгать, а дьявол это любит».

«Когда я сказал о распространении у нас итальянской иконописи, итальянского церковного пения, о разрешении на рыбу в среду и пятницу, о предпочтении еврейского текста переводу 70 толковников, о погребении иноверцев православным духовенством, о принятии латин и лютеран посредством одного миропомазания и других различиях наших от греческой церкви (по мнению отца Илариона диакон может служить не причащаясь), отец Иларион сказал, что надобно се это исправить, чтобы еретики не могли попрекнуть нас и, исправив у себя, исправлять что следует и в Константинопольской церкви. Если к этим исправлениям и другим полезным мерам можно даже понудить наших преосвященных посредством царской власти, то и это считает отец Иларион полезным для церкви. Пусть восторжествует всегда истина, на чьей бы стороне она не находилась. Удалив недостойного архиерея, мирская власть не унижает церковь, а охраняет ее. Всякое послабление вредно, если дело касается пользы церкви. Господь любит ревнующих о славе имени Его. Обо всем, что требуется для блага церкви,

нужно свидетельствовать дерзновенно хотя бы мирянину пред архиереем и по силам заботиться неослабно. Если же мы сделаем все, что зависит от нас, а усилия наши нее увенчаются успехом, то мы можем скорбеть, как скорбел Иеремия, но не чрезмерно, зная, что дела наши записаны на небесах, и представляя судьбы мира Промысл Божию. В Персии, где апостолы насадили христианство, не осталось ни одного христианина. Как голубица Ноева принесла ветку, означающую милость Божию, так и мы должны полагать пред архиереями и пред кем следует полезное предложение. Если примут – хорошо. Если не примут – мы сделали свое дело. О разрыве с греками отец Иларион полагает, что его страшатся греки больше нас. Когда мы сказали о распространении в России книг кощунственных и т. д., старец сказал, что и этому надо противиться по силам; потом присовокупил, что, слыша это, жалеет, что ушел из России. «Мог бы я жить близ Киева, питаться хлебом и водою и не знать ничего, что делается там, а слышать это теперь – для меня тяжкий канон». Старец видимо огорчился глубоко.

«Старец редко выходит из своей кельи; для нас он решил посетить Руссик, так как беседа наша касалась исключительно дел церковных. Он оказывал нам благоволение».

Прибавлять ко всему этому, кажется, нечего. По всем вероятностям, ничего так не утвердило Зедергольма в желании стать монахом, как поездка на Афон и беседы с отцом Илларионом.

Через два года, по возвращении из этой командировки, Зедергольм вышел в отставку и поступил в послушники Оптиной пустыни.

Раз почувствовав влечение к православию, Зедергольм предался своей избранной идее со всею твердостью и выдержкой германского характера, со всею ясностью и последовательностью философски воспитанного ума... Ему мало показалось быть православным мирянином; он захотел стать монахом. Это было вполне последовательно. Конечно, не все, а только очень незначительная часть христиан может посвящать себя иноческой жизни, и в самое благоприятное для монашества время монахов бывало немного сравнительно с мирянами. Но последовательность здесь, как известно, та, которая выражена Спасителем в ответе богатому юноше желавшему спастись: *Если же хочешь совершен быти, то раздай имение свое нищим и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за Мною* (Матф. 19, 21).

«Заповеди (Христовы), говорит авва Дорофей, объясняя значение монашества, даны всем христианам, и всякий христианин обязан исполнять их; они, так сказать, дань,

должная царю. И кто, отрекающийся давать дани царю, избег бы наказания. Но есть в мире великие и знатные люди, которые не только дают дани царю, но приносят ему и дары; таковые сподобляются великой чести, великих наград и достоинств. Так и отцы: они не только сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. Дары же сии суть: девство и нестяжание. Это не заповеди, но дары; ибо нигде не сказано в Писании: не бери жены, не имей детей. Так же и Христос, говоря: *продаждь имения твоя* (Матф. 19, 21), не дал этим заповеди; но когда приступил к нему законник и сказал: *учителю благий, что сотворив живот вечный наследую*, (Христос) отвечал: ты знаешь заповеди: не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй на ближнего своего и проч... Когда же тот сказал: *сия вся сохранил от юности моя*, (Господь) присовокупил: *аще хочещи совершен быти, продаждь имения твоя и даждь нищим* и проч. (Матф. 19, 21). Он не сказал: продай имение твое, как бы повелевая, но советуя, ибо слова: *аще хочещи* не суть слова повелевающего, но советующего» (Поучение первое аввы Дорофея об

отвержении от мира).

Христианство далеко от нынешнего учения земных удобств и земного благоденствия. В основании своем оно есть безустанное по-
нуждение о Христе; и все наши добрые качества, облегчающие нам от времени до времени эту борьбу духа и плоти, суть не что иное, как дары Божии. Заслуга только в вере, в покаянии и в смирении, если не можешь понудить себя; все невольное хорошее в нас, все естественно доброе есть дар благодати для облегчения борьбы. Когда, вопреки сухости сердца и равнодушию ума, идет христианин в церковь или дома становится на принудительную молитву, это выше, с точки зрения личной заслуги, чем молитва легкая, радостная, умиленная, горячая... Такая приятная молитва есть дар, награда, милость. Это не наше, это Божие. Наши только вера и смирение, т. е. презрение к себе и благодарение Богу за все, даже и за нестерпимые муки в здешней жизни.

Один добрый принудительный поступок человека жестокого или холодного (по данной ему, без вины его, натуре) ценнее в гла-

зах церкви, чем многие милости и многие щедроты по природе добродушного и щедрого человека. Симпатичнее нам, людям, будет, конечно, этот последний; мы можем только признать, что ему по благодати отпущен такой высокий дар благости; но один хлеб, брошенный нищему скупцом Петром-мытарем, ценится, по учению церкви, более чем самая привлекательная (в житейском смысле) щедрость расточительного по нраву человека. Возьмем другой пример. Мария Египетская была страстная по природе женщина; она не искала даже мзды за те грешные удовольствия, которые доставляла людям ее красота. Она не по природному темпераменту стала чиста и строга, а по страху Божию. Если б она была женщина с природною благодатью чистоты или некоторой холодности, то ее бы не нужно было скрывать в пустыне. Тогда ей нужна была бы борьба не против чувственности, а против чего-нибудь другого, например: против внутренней гордости, жестокости, лжесмирения, лукавства, как бывает часто с людьми хладнокровными или более чистыми и по природе строгими в нравах.

«Нудящие себя только восхищают царство небесное...» Вот почему монашество стало развиваться и распространяться на Востоке и Западе именно с тех пор, как прекратилось внешнее гонение. Мученичество, внешние гонения – были сначала средством получить «небесные венцы». Только после мирского торжества христианства явилась потребность иного мученичества, добровольного, свободного отречения от соблазнов, от роскоши, даже от самых невинных, допущенных законом, радостей семейной жизни. Если кто думает, что это легко, пусть попробует. Он увидит, что и в наше время быть добросовестным монахом есть великий труд (я говорю – добросовестным); и если есть у этих добровольных мучеников утешения и отрады, то они или детски просты (например: отдохнуть лишний час, съесть что-нибудь получше, чего давно уже не ел и не видал даже), или самого высокого, самого идеального, мистически-сердечного, так сказать, характера.

Хорошее монашество есть высокий цвет христианства; те, кто думают, что церковь может жить без монашества (хотя бы и весь-

ма несовершенно и слабого) ошибаются. Указывать на то, что первые века церковь жила без монахов, значит впасть в заблуждение людей, не знающих дела. В первые века церковь жила и без правильной церковной службы, без определенной литургии, без окончательного утвержденного учения о таинствах, без ясноразработанного догмата. Если так, если все дело и весь пример в первых двух-трех веках, то отчего же не оставить бы и ясный догматизм, и литургию, и все церковные обряды, предоставить каждому вывести, что ему угодно из Евангелия и апостольских посланий? Однако многие из нерадящих о монашестве и презирающих его испугались бы подобной дерзости...

Монашество, сказал я, есть цвет христианства; слишком молодое деревцо еще не цветет и плодов не приносит; и слишком старое, близкое к гибели, дерево также перестает цвести. Монашество было не нужно в первые века гонений, простоты и сравнительной малочисленности христиан; оно стало потом естественным результатом развития, и гибель монашества была бы верным предвест-

ником гибели самого православного церковного учения, то есть в том народе, который оставил бы иночество.

Вот почему, говорю я, мог человек с таким твердым и философски-последовательным умом, каков был Зедергольм, шаг за шагом пойти до монашества.

Мы были с ним очень близки; я просил его однажды сказать мне, были ли в его жизни, в молодых годах, какие-нибудь сильные сердечные потрясения, какие-нибудь романтические перевероты или нестерпимые бури, которые заставили его удалиться от мира, где он был для своих лет очень выгодно и хорошо поставлен.

Отец Климент улыбнулся своею милою и веселою улыбкой и отвечал мне, пристально поглядев на меня: «видите, я не могу и не стану исповедываться вам; но скажу вам вообще, что таких потрясений, о каких вы, вероятно, думаете, не было. Я шаг за шагом, мыслью дошел до необходимости стать монахом... Я хотел поступить сюда еще раньше, чем пришлось. Но случилось так, что в Петербурге я кой с кем перессорился; покойный Оптин-

ский старец, отец Макарий, узнав об этом, сказал мне: «Нет, поезжай, еще послужи, помирись со всеми и тогда приезжай». Когда я вернулся и вошел к отцу Макарию, я увидел у него в келье видного молодцеватого мужчину с окладистой бородой в новом подряснике. Это был Богородицкий предводитель Ключарев, поступивший тоже в послушники Оптинского скита. Я был с ним знаком, но так как он прежде брился и носил обыкновенно штатское платье, то я его не узнал. В подряснике и с бородой он стал гораздо красивее. Отец Макарий немного погодя сказал: «что ж, не пора ли и тебе надеть подрясник? Вот, посмотри, Федор Захарыч Ключарев каким у нас молодцом стал!» Я отвечал, что очень рад, и так стал монахом»...

В Оптиной он прожил около пятнадцати лет, был иеродиаконем, потом иеромонахом, но никакой начальнической должности не занимал, ни духовником, ни старцем не был.

Что такое старчество – я постараюсь сейчас объяснить. Вообще из людей, долго заживашихся в миру, как бы искренни и добросовестны они не были, очень редко выходят за-

мечательные духовники и старцы-руководители. Большинство знаменитых старцев очень рано оставляло мир и посвящало себя иноческой жизни.

Почему же Зедергольм выбрал именно Оптину? Я сказал, что Иван В. Киреевский сблизил его с этой обителью. Но было же какое-нибудь серьезное основание особенно рекомендовать новообращенному протестанту именно этот монастырь для руководства в христианской жизни? основание на то, что в Оптиной с 20–30-х годов начало процветать старчество. Что такое «старчество» люди, не посещающие монастырей и незнакомые ни с историей церкви, ни с духом истинного православия, вовсе не знают.

Рискуя привести в ужас некоторых из моих просвещенных читателей, я прямо скажу, что старец у нас есть именно то, что у католиков называется: «directeur de conscience». Не понравится подобное приравнение может с двух совершенно противоположных точек зрения. Слышать, что православный старец есть то же самое, что «directeur de conscience», может быть неприятно и очень православно-

му человеку и человеку равнодушному в делах веры; первому – потому, что он смотрит на папство, как на заблуждение, а второму – потому, что «иезуиты де очень лукавы и слишком много стараются приобретать влияния». И, наконец, разве у всякого нет свидетельства своей собственной совести?

Но этого рода рассуждения происходят лишь оттого, повторяю, что у нас слишком мало знакомы с историей христианства, с его основами, оттого, что настоящий его смысл «не от мира сего» забыт, и образованный человек считает себя вправе брать из христианства то, что ему вздумается и отвергать то, что ему кажется отсталым и бесполезным.

Недавно, случайно перелистывая одно издание шестидесятых годов, я нашел там следующее место, в статье одного из мыслящих соотечественников наших.

Дело идет о поэте Гейне. Вот, что говорит между прочим автор (Н.Н. Страхов).

«При этом идею христианства Гейне толкует совершенно на католический лад; главное ее содержание он видит в презрении к плоти, в преувеличенном спиритуализме, в призна-

нии за зло всей природы, всех естественных влечений и радостей, в аскетическом отречении от мира» (Журнал «Заря», 1870 г. Статья «О литературной деятельности Герцена»).

Таким образом, ученый автор считает особенностью католицизма именно то, что у него есть общего с православным учением.

Не аскетическим взглядом на жизнь, на страх Божий, на смирение, на глубокую природенную греховность нашей природы, не отрицанием всемогущества человеческого, ни отрицанием возможности какого бы то ни было счастья на этой земле, не советами безусловно, по мере сил, покоряться учению церкви и советам ее представителей в нашей личной жизни – отличается католичество от восточного православия, а позднейшим искажением тех основным догматов, которые были признаны первоначальной церковью и введением новых, подобно догмату единой непогрешимости папы (вместо непогрешимости вселенских соборов), о незапятнанном первородным Адамовым грехом зачатия Божией Матери, или об исхождении св. Духа и от Сына, и другими[17]. Вообще надо

заметить, что папство мало существенного убавило и отвергло из учения единой и всеобщей первоначальной церкви, но, напротив того, прибавило много лишнего. Поэтому в нем и не могло остаться многого из первоначального апостольского и святоотеческого учения.

Зедергольм, читая не совсем правильные нападки на западную церковь в наших светских, а иногда и духовных журналах, говорил мне: «в католичестве истина до того глубоко спутана с самыми опасными для души заблуждениями, что надо обращаться с ними очень осторожно: и хвалить трудно западную церковь, и опрометчиво, невпопад порицать ее опасно перед публикой. Воображая, по неведению, что порицаешь только одно папство, можно очень легко и некоторым сторонам наших верований вредить!».

Сверх этого, надо заметить еще вот что: хотя вся историческая судьба России тесным образом связана с православием и даже в современной нам великой борьбе за свободу восточных христиан, православие является знаменем, под сенью которого наше войско со-

вершало свои блистательные подвиги; однако надо, в некоторых случаях, как можно внимательнее отличать наши национальные свойства от свойств, принадлежащих самой православной церкви. Учение церкви одно, но приложение это учения к жизни, история практических отношений церкви к народу может быть разная, в разные времена и у различных наций, исповедующих ту же веру. Различать этой чрезвычайно важно уже для одного того, чтобы национальные недостатки или исторические несчастья наши не переносить ошибочно на характер самой церкви. Хомяков в своих письмах к Пальмеру, говорит: «сомневаться в истине православия нельзя только потому, что проповедь его идет не так успешно, как проповедь католицизма. Это может зависеть от национальных недостатков тех народов, которые в настоящее время служат главными представителями восточного православия. Русские и греки виноваты в этом, а не учение церкви»[18]. Хомяков говорит это относительно внешней проповеди; то же самое можно сказать и относительно внутреннего руководства совестей. Не учение

церкви православной противно духу старчества (то есть духовному руководству совести), а наши исторические условия, наши национальные недостатки тому виною, что старчество (несомненно сильно развитое у нас в удельный и московский периоды наши) заглохло в последние века не только по отношению к верующим мирянам, но и в стенах монастырей. Подчинясь в общих чертах уставам церкви, высшее и более образованное сословие наше уже давно привыкло полагаться только на собственный ум и собственную совесть даже и в важных вопросах, и к духовнику обращалось лишь как к совершителю треб, который нравственных наставлений не мог преподавать. И к несчастью, в большинстве случаев, наше образованное сословие было право. В монастыри не всякий имел время, средства и охоту далеко ездить; а белое наше, и сельское, и городское, духовенство было издавна, за немногими исключениями, поставлено в такое жалкое положение, что кроме боязни, просительной корысти и человекоугодия, оно не могло ничего обнаруживать пред людьми образованных классов. Какое

же тут могло быть старчество?

Определяя точнее смысл старчества, надо сказать так: разум наш недостаточен; есть минуты в жизни, когда он нам неотступно твердит: «я знаю только то, что я ничего не знаю». Нужна положительная вера; у меня эта вера есть. Я знаю, положим, в общих чертах учение церкви. Читал Жития. Там я беспрестанно вижу примеры, как цари, полководцы, ученые и, вообще, миряне прибегали за советами к людям высокой духовной жизни, к людям освободившимся, по возможности, по мере сил человеческих, от страстей и пристрастий. Отпущения грехов на исповеди мне недостаточно; меня это не успокаивает; я не доверяю вполне и постоянно, по долгу христианского смирения, свидетельству одной моей совести, ибо это свидетельство прежде всего основано на гордости личного разума; поэтому в трудных случаях моей жизни, где я беспрестанно поставлен между грехом и скорбью, я хочу обращаться с верой к человеку беспристрастному и по возможности удаленному от наших мирских волнений, хотя понимающему их прекрасно. Я верю не в

то, чтобы духовник или старец этот был безгрешен (безгрешен только Бог, и святые падали), ни даже что он умом своим непогрешим (это тоже невозможно). Нет! я с теплою верой в Бога и в церковь и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь, прихожу к нему, и чтобы он мне не ответил на откровение моих тайн, даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить. А при этом я, верующий мирянин, могу быть лично и очень умен, и чрезвычайно развит, и в житейских делах даже гораздо опытнее этого старца. Но стоит мне только вспомнить историю человечества, или взглянуть беспристрастно на окружающую жизнь, чтобы понять до чего же даже гений бывает иногда неразумен и до чего самый хороший человек иногда срывается и в отдельных случаях поступает хуже худого. И священное Писание, и история церкви к тому же совпадают вполне в этом отношении с практической жизнью. Иуда был апостол, а разбойник разбойничал. И так различно они кончили свою жизнь! Арий был человек лично прекрасной жизни, но он сделал церкви и человечеству более

вреда своею умственной гордостью, чем многие убийцы и развратные люди.

Вот смысл отношений ученика и духовного сына к старцу.

Думать, что подобное отношение к духовнику есть исключительно католическая черта и православию совершенно чуждая, значило бы тоже, что считать – что бы такое?... ну, например, что плохая обработка русских полей есть отличительная черта славянских воззрений на агрономию, а не случайный и временный результат исторических и географических условий нашей национальной жизни.

Как же может учение православной церкви не требовать, чтобы духовенство было как можно влиятельнее на нашу личную жизнь, когда оно так высоко ставит и сан священства и монашеский образ?

Наша распущенность, общая и мирянам и духовенству, наше равнодушие, наш «поздний ум, богатый с колыбели ошибками отцов» – вот в чем причина сравнительной слабости у нас духовного руководства, а не в какой-либо существенной черте церковного учения.

Монах, в сущности, все тот же православный христианин, как и не монах, только поставленный в особые благоприятные для строгой жизни условия; и мирянин верующий, в сущности, все тот же аскет, только с большею свободой. Если взять и в наше время целый ряд убежденных христиан, начиная от строжайшего афонского пустынножителя до какого-либо человека богатого или высокопоставленного в обществе, то как бы ни велика была разница во внешнем образе жизни всех этих людей, поставленных между двумя крайностями – между сырой пещерой афонского схимника и барскими палатами русского государственного деятеля, се же идеал сердечный у них один, философия жизни одна, нравственный критерий один, догматы одни, усилия направлены к одной и той же цели, к поддержанию в себе, во время земной жизни, близости к Христу и к Его учению. Быть может, иногда мирянину, занятому гражданскими и другими личными обязанностями, окруженному соблазнами роскоши и живущему во многолюдном городе, труднее принудить себя каждый день заходит только поутру в ча-

совню (как делал, например, погибший столь трагическую смертью, генерал Мезенцев), чем монаху выстоять большую службу; уже по одному труднее, что мирянина ничто к тому не понуждает, кроме собственной веры, а монаха, живущего в общине, понуждает быть в церкви, так называемая, «среда», тогда как его одолевают лень и рассеянность. Не для Бога, так для братии он пойдет в церковь.

И так, говорю я, разница между самоограничивающим и понуждающим себя о Христе мирянином и монахом только количественная, а не качественная, не существенная. У хорошего монаха те же краски гуще, черты выразительнее, та же сущность, но более освобожденная от всех мирских украшений и тягостей. Иначе, какое же бы могло иметь значение монашество, если б оно не исходило, как высший плод, из того же христианского общества и если бы, с другой стороны, посредством своих молитв, своего примера и своего руководящего влияния, оно на этот внешний христианский мир не влияло?

В этом смысле, говоря о пользе и даже

необходимости старчества для монахов, надо подразумевать и то, что оно и для мирян может быть чрезвычайно полезно.

Я даже спрашиваю себя, не полезнее ли оно иногда для мирян, чем для самих монахов? Монах, если он мало мальски добросовестен, сдерживается начальством, общиной; он беспрестанно в церкви слышит поучения, имеет всю возможность читать часто Св. Писание и святых отцев, а мирянину *нашего времени* когда самому подумать внимательно о Боге и своей душе?

Чтоб указать до какой степени духовенство и старчество были у нас в забвении, лучше всего выписать историю возобновления в Оптиной пустыни этого древнего христианского обычая из жизнеописания Оптинского старца иеросхимонаха Леонида (жизнеописание составлено тем самым отцом Климентом, о котором здесь идет речь)[19].

«В Оптину пустынь отец Леонид прибыл в апреле 1829 года с шестью учениками. Переход отца Леонида в Оптину пустынь весьма замечателен тем, что им введено и упрочено в этой обители, так называемое старчество.

Этот, основанный на евангельском, апостольском и святоотеческом учении, образ монашеского жития в наше время пришел в такое забвение, что считаем не лишним сказать здесь о нем несколько слов.

«Старчество состоит в искреннем духовном отношении духовных детей к своему духовному отцу или старцу.

«Не всех же должно вопрошати, но единого, ему же вверено есть и других окормление и житием блистающа, убога убо суца, многа же богатяща по писанию (2-е Кор. 6, 10). Мнози бо не искусни, мнози неосмысленных повредиша, их же суд имут по смерти. Не всех бо есть наставити и инех, но им же дадеся божественное рассуждение, – по апостолу, рассуждение духов (1 Кор. 12, 10), отлучающее горшее от лучшего мечом слова. Кийждо бо свой разум и рассуждение естественно или деятельно или художественно имать, а не вси духовное.

«Духовное же отношение требует от руководимых кроме обычной исповеди пред причащением св. Таин и частого по потребности исповедания старцу и духовному отцу не

только дел и поступков, но и всех страстных помышлений и движений и тайн сердечных.

«Путь старческого окормления во все века христианства признан всеми великими пустынножителями, отцами и учителями церкви самым надежным и удобнейшим из всех, какие были известны во Христовой церкви. Старчество процветало в древних египетских и палестинских киновиях, впоследствии насаждено на Афоне, а с Востока перенесено в Россию. Но в последние века, при всеобщем упадке веры и подвижничества, оно понемногу стало приходить в забвение, так что многие начали отвергать его. Уже во времена Нила Сорского старческий путь многим был ненавистен, а в конце прошедшего столетия и почти совсем стал неизвестен. К восстановлению в России этого, основанного на учении св. отцов, образа монашеского жития много содействовал знаменитый и великий старец архимандрит молдавских монастырей Паисий Величковский. Он с великим трудом собрал на Афоне и перевел с греческого языка на славянский творения аскетических писателей, в которых содержится учение о мона-

шеском житии вообще и в особеннсть о духовном отношении к старцам. Вместе с тем в Нямецком и других подчиненных ему молдавских монастырях он показал и применение этого учения к делу. Одним из учеников архимандрита Паисия, схимонахом Феодором, жившим в Молдавии около 20-ти лет, этот порядок иноческой жизни передан иеросхимонаху отцу Леониду, а им и учеником его, старцем иеросхимонахом Макарием, насажден в Оптиной пустыни.

«Тогдашний Оптинский настоятель отец Моисей и брат его скитоначальник отец Антоний, положившие основание своего иночества в Брянских лесах, в духе древних великих пустынножителей, давно желали ввести старчество в Оптиной пустыни, но сами не могли выполнить этого дела, потому что были озабочены многотрудными и многосложными занятиями по устройству и управлению обители, и потому что вообще соединение в одном лице двух этих обязанностей, настоятельства и старчества, хотя в прежние времена при простоте нравов и был, но в наше время весьма неудобно и даже невозмож-

но. Когда же в Оптиной пустыни поселился отец Леонид, тогда отец Моисей воспользовался этим и, зная его опытность в духовной жизни, поручил его руководству всех братьев, жительствовавших в Оптиной пустыни и всех приходивших на жительство в монастырь.

«С того времени весь внутренний строй монастырской жизни изменился в Оптиной пустыни. Без совета и благословения старца ничего важного не делалось в обители. В его келье ежедневно, особенно в вечерние часы, стекались братья с душевными своими потребностями, каждый спешил покаяться перед старцем в чем согрешил в продолжение дня делом, словом или помышлением, просить его совета и разрешения во встретившихся недоумениях, утешения в постигшей скорби, помощи и подкрепления во внутренней борьбе со страстями и с невидимыми врагами нашего спасения. Старец всех принимал с отеческой любовью и всем преподавал слово опытного назидания и утешения. Вот как описывает келью отца Леонида очевидец иеромонах Антоний:

«Келья старца, от раннего утра до поздней ночи, наполненная приходившими к нему за духовной помощью, представляла картину, достойную кисти художника. Старец в белой одежде, в короткой мантии, был виден из-за круга учеников своих, которые стояли пред ним на коленях[20], и лица их были одушевлены разными выражениями чувств. Иной приносил покаяние в таком грехе, о котором и не помыслил бы не проходивший послушания; другой со слезами и страхом признавался в неумышленном оскорблении брата. на одном лице горел стыд, что не может одолеть помыслов, от которых желал бы идти на конец света; на другом выражалась хладнокровная улыбка неверия ко всему видимому: он пришел, наряду с другими, явиться только к старцу и уйти неисцеленным; но и он, страшась пронизательного его взгляда и обличительного слова, потуплял очи и смягчал голос, как бы желая смягчить своего судию ложным смирением. Здесь видно было истинное послушание, готовность лобызать ноги старца; там немощный, отринутый всем миром, болезненный юноша не отходил от колен от-

ца Леонида, как от доилицы ее питомец.

«Благодетельно стали отражаться богомудрые наставления на Оптинском братстве, которое понемногу начало совершенствоваться в нравственном отношении. Мудрость старца, свидетельствуемая любовью и почтением к нему настоятеля и братии, скоро сделал отца Леонида известным и вне обители. Ради духовных советов начали приходить к дверям его кельи из городов и селений разного рода люди: дворяне, купцы, мещане и простой народ обоего пола. Все были принимаемы старцем с сердобольным, отеческим расположением и любовью, и никто из приходящих не выходил из его кельи, не быв утешен им духовно. С каждым годом стечения народа в Оптиной пустыни значительно умножалось, чрез что она видимо процветала. Понимавшие хорошо духовную жизнь мужи, но подвизавшиеся в затворе или безмолвии, со всех сторон России стали присылать под руководство отца Леонида в Оптину пустынь, для обучения в монашеской жизни, людей всякого сословия, искавших для сего более надежного пристанища.»

На отца Леонида и на Оптину пустынь в сороковых годах за это кажущееся нововведение было поднято гонение. Пол зависти и невежеству это было сочтено каким-то расколом, ересью. Преосвященный Николай калужский имел слабость поддаться этим наущениям и несколько раз запрещал отцу Леониду принимать мирян, которые рвались в его двери толпою. Отец Леонид и настоятель Оптиной пустыни архимандрит Моисей, подчиняясь повелению владыки, из послушания переставали допускать народ; но люди, привыкшие к беседе старца и его наставлениям, помещики, купцы, военные, простолюдины городские и сельские, множество женщин, монахини из многих обителей, требовали его духовного слова и невыносимо страдали без него. Однажды случилось вот что. Сострадавая своей духовной пастве, отец Леонид решился, наконец, вопреки запрещению архиерея, допустить к себе огорченных мирян. (Надо понимать, какое ужасно отчаяние может чувствовать человек, который утратил веру и в себя, и в свой разум, и в близких, и вообще в силу помощи человеческой, и который кроме

горя и греха в себе и вокруг себя ничего не видит, если у него отнимают единственную опору его – спокойного и бесстрастного духовного утешителя... Это ужасно!). Преосвященный Николай Калужский вскоре после этого приехал в Оптину. Владыка шел в церковь по монастырскому двору, полному народа. Вдруг вышел из кельи своей отец Леонид, чтоб идти в ту же церковь. Мгновенно толпа отхлынула от архиерея и бросилась к старцу, окружила его, теснясь и требуя благословения.

Отец Леонид старался со своей стороны протесниться к владыке, чтобы поклониться ему.

Когда он приблизился, архиерей сказал ему укорительно: «А ты все еще с народом возишься».

– Пою Богу моему дондеже есмь! отвечал твердо и спокойно отец Леонид.

Этот ответ так понравился архиерею, что он с тех пор перестал тревожить отца Леонида, и старчество укрепилось в Оптине и процветает в ней до настоящего времени.

Отцу Леониду наследовал знаменитый духовник и друг его отец Макарий (из калуж-

ских дворян); потом отец Иларион и нынешний главный духовник отец Амвросий (оба они были келейниками отца Макария). Наконец сам основатель Оптинского скита архимандрит Моисей и младший брат его отец Антоний были в высшей степени замечательные люди и старцы удивительной жизни. Они оба начали свои подвиги, как сказано было выше, почти одни одинешеньки в вообразимо глухом месте Брянских лесов; их отыскали там и поручили им (в 1821 году) устроить Оптину пустынь. Они создали скит и восстановили бедную и во всех отношениях павшую обитель.

Отец Моисей, кроме своих высоких управительских способностей, кроме лично святой жизни, имел тоже духовный дар старчества, и хотя по особому рода смирению уклонялся от него, ограничиваясь хозяйством и управлением, но не отвергал тех мирян, которые любили обращаться к нему за советом и руководством.

Что касается до отца Антония, младшего брата архимандрита Моисея, то это был такой добрый, такой «любовный», кроткий человек,

что покорял своим обращением самых строптивых людей. Я знал коротко одного петербургского литератора, человека по характеру гордого, закоснелого атеиста, ненавистника религии и церкви, который уважая и любя отца Антония лично, только у него одного, из всех встречавшихся ему духовных лиц, целовал с любовью и почтением руку. И делал он это сознательно, говоря, что этот Антоний «единственный поп, которого он чтит и любит!» Отец Антоний был довольно долго настоятелем Малоярославецкого монастыря; но не имея ни малейших административных наклонностей и постоянно больной, он считал свое настоятельство мукой и мечтал лишь об одном, чтобы поскорее от игуменства избавиться и окончить жизнь на покое в Оптиной, под крылом старшего брата архимандрита, которого он чтил как отца.

При поступлении в монастырь у Зедедголь-
ма не было никаких определенных
средств к жизни. Особую келью в скиту ему
не на что было построить. Граф А.П. Толстой
построил ему на свой счет красивый и про-
сторный русский бревенчатый домик с кры-
лечком в сельском вкусе, зеленою железною
крышей и теплыми сенями. Внутренность
этого жилища не поражала ничем особен-
ным, ни чрезмерною суровостью, ни ка-
ким-нибудь исключительным, для инока
неприличным изяществом. Обыкновенный
старинного фасона желтый диван с деревян-
ною спинкой; небольшая спальня за перего-
родкой; в углу много образов; портреты стар-
цев и мирских друзей; множество книг и бу-
маг; большая чистота и примерный порядок...
Кафельные голландские печи, которые зимой
топились иногда так весело, услаждаясь све-
том и треском своим наши с ним долгие бесе-
ды...

В этом милом домике, устроенном рукой
друга и покровителя, отец Климент прожил

около пятнадцати лет, подвизаясь духом и трудясь письменно на пользу обители и церкви.

Очень скоро по водворении своем он стал помогать болезненному Старцу отцу Амвросию в обширной переписке его с духовными детьми и принял самое деятельное участие в духовных изданиях Оптиной пустыни. Его превосходное знание древних и новых языков, его образцовая, «истинно московская» литературная подготовка, его привычка к кабинетному труду, делали его незаменимым для подобной цели.

Вот перечень Оптинских изданий, в которых участвовал отец Климент:

1) *Авва Дорофей*, переведено с греческого; 2) *Симеон Новый Богослов*; 3) *Феодор Студит*, переведены с греческого в сотрудничестве с другими оптинскими монахами; 4) *Иоанн Лествичник*, вновь переведено и проверено с греческим; 5) «Царский путь Креста Господня» (Ставрофила).

Я останавлиюсь здесь только на двух книгах: на книге *Св. Иоанна Лествичника* и на *Ставрофиле* («Царский путь Креста Господ-

ня»).

Сначала о Лествице.

Я по опыту знаю до чего велика разница в степени действия старославянских переводов этой книги и новейшего перевода Оптинского, в котором участвовал отец Климент. Хотя я понимаю церковно-славянский язык порядочно, но все-таки, читая в первый раз *Иоанна Лествичника* в новом переводе, я почувствовал, что прежде от меня ускользало множество замечательных тонкостей и самых верных и глубоких психологических оттенков в этих поучениях. Самая византийская риторика вступлений и заключений св. Иоанна передана так хорошо, что она в литературном даже смысле нравится и поражает...

Оговорюсь, впрочем, мимоходом и на счет церковно-славянского языка.

Я чуть не отвергаю его высокого достоинства и особенной силы; я указываю только на большую доступность простого русского языка. Одно не только не мешает другому, а напротив того, влияние русского языка и действия церковного часто удивительно допол-

няют друг друга. Лучшим примером подобного дополнения могут служить псалмы. В славянских псалмах для большинства много непонятного и даже сбивчивого, если начать вникать в смысл каждого слова. Но молитва на этом полу таинственном и величавом языке гораздо отраднее, чем молитва на русском. Поэтому хорошо читать, иногда, псалмы по-русски и потом слушать их в церкви и молитвенно прочитывать дома на церковно-славянском.

То же самое можно сказать и о святоотеческих писаниях. Отец Климент, который переводил с греческого на русский и исправлял другие аскетические сочинения, справедливо восхищался оптинским изданием Исаака Сирина (Изданием, в котором он сам вовсе и не участвовал). Оптинские издатели оставили своеобразный язык великого Паисия (Величковского), впервые передавшего этот перл аскетической литературы по-славянски. они снабдили книгу только беспрестанными русскими заметками и объяснениями внизу страниц.

Почему же я хвалю и то, и другое? и то, что

так просто и понятно перевели *Авву Дорофея* и *Лествицу*, и то, что оставили странный и поразительный язык Паисия Величковского неприкосновенным. Вот почему: Исаак Сирий выше, глубже других, сходных с ними по направлению, аскетических писателей. В нем есть какая-то особая мистическая музыка: при чтении его задумчивых поучений ощущается нечто особое, пробуждается у верующего человека особое чувство, духовность и сила которого доходит до физического томления. Это драгоценное действие почему-то слабеет в русском переводе. Почему – не знаю. Потому ли, что не нашлось еще человека, который бы сумел вполне художественно передать по-русски дух славянского перевода или греческого подлинника[21], или почему-либо другому – не берусь решить.

Практический же смысл есть в той разнице, которую сделали Оптинские старцы между Исааком Сирием и другими аскетическими писателями. *Авва Дорофей* и даже *Иоанн Лествичник* попроще, подступнее; они полезнее неопытным и менее ученым людям. Надо было поэтому довести их доступность до

наибольшей степени. Исаак Сирий глубже («гуще», как говорил, улыбаясь, покойный Климент) и его предлагают старцы не всякому, а лишь тому, кто или духовно опытнее или по-мирски образованнее, кому мыслить легче на этой почве.

На таких людей, когда они приступают к чтению с правильным и добрым чувством, отрывки из книги святого Исаака Сирина действуют чрезвычайно сильно, наподобие молитвы, пения или громкого чтения прекрасных стихов... Понятно, как это должно укреплять не только монаха, но и мирянина среди житейских «бурь и битв».

Теперь о «Ставрофиле» или о книге озаглавленной: «Царский Путь Креста Господня».

Книга эта католического происхождения. Она была в первый раз издана в 1709 году черниговским архиепископом Иоанном Максимовичем. В католическом сочинении с девицей ставрофилой беседует Сам Спаситель. Это, по учению нашей церкви, непозволительно. Каждое слово Самого Спасителя имеет высочайший догматический авторитет. Поэтому никакой духовный писатель не име-

ет права говорить от лица Спасителя. Он может только приводить тексты из Евангелия в подтверждение своих слов и больше ничего. Но книга эта показалась нашему духовенству полезною по живости и простоте изложения, и ее переделали. Христос заменен у нас ангелом... были и другие второстепенной важности западные оттенки, которые устранены. Вся книга состоит из наставлений ангела юной Ставрофиле (крестоносице, любительнице Креста). Она колеблется, унывает, спрашивает; ангел поучает и утешает ее. Она хочет привлечь на свой путь двух сестер своих, Иларию (веселую, смеющуюся) и Гонорию (гордую). Но обе отвергают Крест: одна боясь скуки, другая – не желая унижения.

Нравственное учение этой книги правильное; это обыкновенное учение христианского отречения и терпения в этой жизни для спасения души за гробом. Но само сочинение ничем не замечательно. В нем есть что-то начальное, почти детское, поверхностное; но именно поэтому-то она и полезна для людей попроще. Им она доступнее, может быть, всякой другой аскетической книги, по истин-

но-западной легкости изложения и по самой диалогической форме своей. Разговорная форма увлекает многих читателей. Есть, правда, в этой Ставрофиле что-то слащавое, женоподобное, приторное, свойственное многим католическим писателям, в том числе и автору знаменитого Подражания Христу; но этот оттенок неприятен только немногим, очень строгим читателям и судьям... Большинству же монахов и набожных мирян эта книга очень нравится. В этом-то смысле я и нахожу ее весьма полезною. Духовная пища должна быть разная: кому «млеко», а кому густая пища, твердая; кому Ставрофила, а кому – Исаак Сирин.

Если не ошибаюсь, исправлением издания Ставрофилы Оптиная пустынь была обязана исключительно отцу Клименту. Он задумал и исполнил этот труд под руководством Старца и при помощи другого почтенного монаха, которого не назову, щадя его высокую скромность.

Кроме этих, общеоптинских изданий, переводов, переделок, исправлений и т. п., в которых так деятельно и влиятельно участво-

вал отец Климент, он в течение своей монашеской жизни (и еще прежде немного) напечатал по разным духовным журналам довольно много небольших статей. Я перечту их. В Душеполезном Чтении 1865, 1868, 1871, 1875, 1877 годов статьи: «Иеродиакон Палладий»; «О Лютеровом переводе Библии»; «Описание богословских училищ на востоке»; «Поездка за границу». Переводы: «Увещательное послание к Сербам»; «Слово Иоанна Дамаскина о восьми греховных помыслах».

В Чтениях Общества Любителей Духовного Просвещения: «Заметка о книге Пихлера»; «История разделения церквей».

Отдельные брошюры: «О жизни и трудах Никодима Святогорца»; «Из воспоминаний о поездке на восток в 1860 году».

Отцом Климентом были составлены также жизнеописания Оптинских старцев: отца Леонида (в схиме Льва), первого учредителя старчества в обители и отца Антония, младшего брата знаменитого Архимандрита Моисея, восстановившего Оптину из того запущения, в котором она была в первых годах этого столетия.

Незадолго до кончины своей, отец Климент начал собирать материалы и для биографии самого архимандрита Моисея, но не успел кончить этот последний труд. Он передан теперь другому лицу, по уму и образованию своему также стоящему вполне в уровень этой задачи[22]. Жизнеописание отца Леонида и отца Антония составлены очень хорошо. Отец Климент сумел придать своему рассказу ту жизненность, которой, к сожалению, очень часто лишены подобного рода книги. Подвиги и подвиги, смирение, вера, прозорливость и т. д. – вот, что мы обыкновенно находим в сочинениях преданных учеников и последователей, когда они решаются говорить о святой жизни духовных наставников, чтимых ими по личной ли близости или по свежему преданию. Редко можно найти в таких жизнеописаниях хотя бы намек на натуру человека, на те душевные и вообще личные особенности его, которыми он и как человек и как христианский делатель резко отличался от других лиц, сходным с ним по направлению мыслей и жизни. А между тем в действительности как ни стараются подобно-

го рода люди убить в себе все земное, все страсти, все привычки, все личные оттенки характера, эти личные оттенки остаются при них до конца жизни, и то, что называется собственно святостью возможно при всех характерах и при всех натурах: при мягком и жестоком сердце, при веселом и при печальном нраве, при гениальном уме и при простоте, доходящей до ограниченности, при смелом и при робком характере. В этом легко можно удостовериться, просматривая жития святых в Четьи mineи Св. Дмитрия Ростовского. Жития эти, правда, написаны вовсе не одинаково; есть такие, в которых виден только святой подвижник или мученик, а человек вовсе не понятен, и есть другие жизнеописания, где личные особенности святого изображены прекрасно. Я не достаточно учен и сведущ по этой отрасли, чтобы рассуждать здесь о различии источников или авторов этих византийских биографий, но лишь по догадке позволю себе сказать, что это разительное несходство зависело вероятно от составителей. Различная степень развития умственного или неодинаковая степень наблюдательно-

сти у составителей отразилась, может быть и невольно, на изображении святого. Так, например: жития Св. Иоанна Дамаскина, Св. Симеона Юродивого, Моисея Мурина, Св. Феодора епископа Едесского, мученика Вонифатия и преподобной Аглаиды, преподобной Евпраксии, особенно наглядны и хороши, в них видно в одно и то же время и святые, и люди; во многих других житиях не встречаем человека, а видим только мученика, чудотворца, подвижника.

Это, впрочем, случается и на других поприщах. И в светской литературе есть много биографий, некрологов, воспоминаний, биографических заметок и т. п., в которых видишь лишь воина, ученого, художника, но человека, натуры из которой выработался этот деятель или мыслитель, не встречаешь. Генералы все распорядительны и храбры, ученые все «честные труженики» («мир праху твоему, честный деятель науки!»), художники все преданы искусству...

Таких полных жизнеописаний *людей*, какие подарил миру Плутарх и в наше время тонкой наблюдательности – все-таки мало.

Иногда эта бледность некрологов и биографий происходит и от доброго чувства, от уважения к памяти покойного; нашлось бы что сказать, но друзья, родные, почитатели остерегаются предать любимое лицо на растерзание насмешливым и беспощадным людям.

Если такое чувство понятно в близких людях по отношению к воину, поэту, ученому и политику, то в монахе, пишущем о человеке святой жизни, оно должно быть еще сильнее. Здесь уже является и страх греха...

Вот почему я ценю жизнеописания двух Оптиных старцев, составленных отцом Климентом. Жизнеописания эти достаточно изобразительны и живы. Читая их тотчас же видишь, что по натуре своей отец Леонид был жестче и тверже, а Малоярославецкий игумен Антоний, симпатичнее, но зато и послабее. Они были сходны между собой по высокому устроению духа, по глубокой искренности аскетического призвания: но читателю ясно, что отец Леонид, полный независимости, инициативы и энергии, верой утвердил в себе любовь и снисхождение; отец же Антоний, не только до нельзя добрый и ласковый,

но быть может и слабый сердцем, посредством той же веры выработал в себе то мужество и ту твердость, которые вероятно были бы у него слабее, если б он с ранних лет не отрекался от мира и не убежал бы от родителей к старшему брату, жившему сначала в такой лесной глуши, что очень немногие и дорогу к нему знали. Отец Леонид учил смело и вдохновенно; смиряясь пред епископом, он все-таки как мы видим, неизменно и бодро отстаивал свое признание старца. Отец Леонид, при всей своей серьезности, позволял себе иногда несколько юродствовать, смешить, представляться чудаком, притворяться гневным для наставления; выгонял, например, из своей кельи любимых им учеников – дворян и т. д. Отец Антоний думал лишь об одном... о безмолвии и молитве; о том, чтобы его оставили в покое. Все Малоярославецкое настоятельство его было долгою мукой и тяжелым послушанием, на котором он изнемогал и постоянно жаловался то епископу, то митрополиту Филарету, то брату и наставнику своему, архимандриту оптинскому Моисею, которого он боялся и слушался по любви и уважению

больше, чем какое бы то ни было начальство. Все это очень ясно и хорошо изображено в обеих биографиях. Знать эти живые оттенки очень полезно и для монаха, и для мирян. Больше веришь в святость, больше понимаешь героизм, аскетический, когда видишь в святом такого же сложного, многострастного человека, как и мы...

Кроме ученых и литературных занятий, кроме постоянного участия в обширной корреспонденции отца Амвросия с его духовной паствой, отец Климент нес и другие обязанности. Он вскоре был сделан иеродиаконом, потом иеромонахом и должен был принимать, иногда, участие в богослужении, входить в сношение с разными лицами, приезжавшими в монастырь; не имея в скиту никакой определенной начальнической должности, он, по собственному рвению, вмешивался часто в дела и поведение младшей братии, делал замечания послушникам и новоначальным монахам. Он не мог выносить беспорядка, забывчивости, ветрености и т. п. и находясь в самых тесных и дружеских отношениях к отцу Анатолию, скитоначальнику, заме-

нял его там, где случилось, в деле присмотра и дисциплины. К сожалению, при вспыльчивости своей и немецкой порядливости он нередко переходил даже через меру и наскучал младшей братии. Для русского человека порядок и правильность труднее всего.

Словом, вся пятнадцатилетняя жизнь Зедергольма в скиту была трудом, борьбой и неустанным подвигом. Он старался все исполнить, везде поспеть, все делать, и только в последние годы жизни, когда здоровье начало ему изменять, он стал, по-видимому, поспешнее к своей плоти. Я говорю: по-видимому, ибо мера усилия и терпения чисто субъективна, и только сам человек по совести чувствует, когда ему больнее и что ему труднее: молодому ли и здоровому сделать больше, или больному и стареющему сделать втрое меньше. Иногда последнее гораздо тяжелее. Конечно, старец, без позволенья которого отец Климент даже и в лесу прогуляться не смел никогда и, я думаю, даже лишнюю молитву не дозволял себе самочинно прочесть, благословлял его в последние годы его жизни на некоторые послабления изнемога-

ющей плоти. И подвиги телесные не всегда полезны для души. Полезна каждому его особая, личная мера на все, чтобы не увлекаться восторгами или гордостью и чтобы не впасть в уныние и отчаяние от бессилия духа и тела в несоразмерной с личными усилиями борьбе. Доверие к старцам и послушание устанавливают эту меру, умиротворяя угрызения совести и тревогу ума.

IV

Если бы после всего сказанного мною об Оптиной пустыни, о монашестве вообще и о серьезном аскетическом направлении Зедергольма еще в миру, если бы, говорю я, кто-нибудь вообразил себе отца Климента в образе какого-то мрачного, худого, угрюмого нелюдима, в котором соединились два формализма и два педантизма, немецкий и монашеский, тот бы сильно ошибся. Отец Климент, напротив того, производил приятное, даже веселое впечатление. Лицом он был бел и, несмотря на болезненность свою, иногда даже немного румян, скорее полон, чем худ; борода у него широкая, густая, русая. Взгляд серых глаз, оживленный, острый, иногда очень милый и веселый, улыбка чрезвычайно добрая и приятная. Известный историк наш К.Н. Бестужев-Рюмин, который был с ним вместе студентом, говорил мне, что у Зедергольма, когда он был юношей, было чрезвычайно свежее и веселое лицо; Бестужеву всегда было «весело смотреть» на этого товарища. По поводу внутренней аскетической серьезности и

внешнего монашеского педантства я хочу вспомнить здесь слова одного из знаменитых афонских духовников. Я в то время, как и большинство членов «современной русской интеллигенции», ничего не понимал в христианстве и тем более в монашестве. Случилось мне тогда говорить с одним неважным иноком, который ездил в Россию с Афона помощником старшего иеромонаха за сбором. Встретившись со мною, этот монах с веселым видом начал рассказывать мне, как они были у такой-то графини или у такого-то генерала, как им давали деньги и как уважали... Мне показались речи этого монаха пустыми, лекомысленными и даже человекоугоднически-низкими. Я похулил его духовнику. Старец усмехнулся и сказал мне на это:

– Он у нас очень хороший монах, труженик, постник, простой сердцем. И как же ему не радоваться, что эти графы и генералы благодетельствуют той обители, которой он сын, и что они уважают духовенство... Вы сами желаете блага церкви; как же вы не сочувствуете ему и не сорадуетесь, что не мужик один ее чтит, но и люди высшего класса?...

Это было так ясно, так просто, так грубо-умно, наконец, что мне осталось только вздохнуть, опустив долу «интеллигентные» очи мои.

Духовник продолжать:

– А что он говорит с вами весело и даже как будто легкомысленно, то и тут вы не так понимаете. Истинно хорошего монаха вы сразу, пожалуй, и не узнаете; он и будет нарочно, иногда, так себя с вами держать, как будто и легкомысленно даже... Наше дело трудное с мирянами: если будешь все серьезен – обвинят в лицемерии; будешь весел с вами, осудят за легкомыслие. Нам то это осуждение ваше, положим, и полезно для души; но мирянам то вредно; их не надо отталкивать... Вот и ищи средину!..

Эту «средину», этот «царский пусть» в обращении с нами, мирянами, отец Климент умел найти и хранить превосходно. Он был серьезен и весел в одно и то же время, приветлив и сдержан, осторожен и любезен. Я говорю не о себе одном; меня он лично любил. Он был вообще, говорю я, таким с мирянами. С отцом Климентом можно было говорить

обо всем... или почти обо всем. Я оговорился: почти. разумеется он и с глазу на глаз не допустил бы каких-нибудь даже и серьезных, но вольного оттенка разговоров. Ему можно было, например, вскользь упомянуть, если того требовал смысл беседы, «о женщинах», о «любви», но только вскользь. Ни стихов, ни повестей в духе эротическом он не позволял себе читать; он старался, кажется, всячески забыть и то, что он помнил в подобном роде из прежней, мирской своей жизни. У меня есть сборник новогреческих народных песен, составленных Пассовым. Отец Климент любил и ценил поэзию этих прекрасных, наивных песен, но, став монахом, он боялся увлекаться этим приятным чтением и подарил мне сборник, отыскав его на чердаке. Он не находил себя еще дошедшим до высшего беспристрастия и без ложного стыда, без той монашеской гордости, в которую так впадают иные, без всякой претензии на безусловную чистоту ума, отвергал всякое, даже самое дружеское, искреннее откровение помыслов известного рода. Он останавливал собеседника, говоря: «прошу вас, оставьте это. Я сам чело-

век очень немощный». Драгоценнее всего ему было очищение его внутреннего мира от всякой страсти, от всякой греховности. Он боялся до нельзя и гнева своего, и самолюбия, и воображения, и лени. Он трепетал своих грехов и, при всем видимом спокойствии его в обыкновенное время, при всей веселой простоте его обращения, очень часто проглядывала в нем эта внутренняя его тревога за свою душу и за свою совесть. Я помню, однажды он прибег со мной, хотя и не совсем удачно, к одной очень умной и древними отцами рекомендуемой уловке. Я долго гостил в Оптиной; жил от его кельи очень близко, и мы часто видались. Мы разговаривали обо всем, о самых высших вопросах богословия, от католицизме, о славянофильстве, о русской литературе, о восточном вопросе, о греко-болгарской распри, о духе времени. Он рассказывал мне кой что о своей молодости и обращении, рассказывал разные монашеские предания и анекдоты, зимою, в его уютной и приветливой келье, весною – в лесу, гуляя или сидя на пнях... Я видел, что не мне одному, но и ему со мной легко и не скучно; я стал ходить к нему все чаще

и чаще. Для меня становилось нестерпимо скучно прожить один день без него. Я подозревал, что и ему не всегда приятно было проходить к себе откуда-нибудь мимо моего жилища, не заходя ко мне; может быть я ошибаюсь, но мне казалось, что он как-то особенно угрюмо и озабоченно проходил по несколько раз в день (по обязанностям своим) мимо моих окон, не оборачиваясь нарочно на них и все глядя в другую сторону. Может быть он подозревал (и справедливо), что я вижу его с дружеским вождением из окна. Весьма вероятно он начал находить, что я слишком живо напоминаю ему его собственную светскую жизнь... Я все крепился, крепился и не вытерпел-таки, чтобы дня через два не придти к нему. Он принял меня ласково, но тотчас же предложил мне помолиться вместе с ним, прослушать «девятый час». По правде сказать, каюсь, мне было бы в эту минуту гораздо приятнее напиться с ним чаю и поговорить о чем-нибудь... Может быть я бы отказался и ушел бы недовольный, если бы сам не знал, что эта уловка для испытания развлекающего посетителя предлагается св. Исааком

Сирином. («Когда придут к тебе некоторые люди, говорит Исаак Сирин, любящие праздность, и посидев немного, покажи вид, что ты хочешь восстать на молитву и скажи с поклоном: брат, пойдём помолимся, ибо пришло время моего правила, и я не могу оставить его. И не оставь его до тех пор, пока он не помолится с тобой. Если же он скажет: помолись ты, а я пойду; сотвори ему поклон и скажи: любви ради хоть одну молитву сотвори со мною, чтобы мне польза была от твоей молитвы. И когда восстанете на молитву, продолжи молитву твою сверх обыкновенного. И когда ты поступишь так с этими приходящими, то они, понявши, что ты не любишь праздности, не приблизятся даже к тому месту, где они услышат, что ты находишься».)

Я тот час же спохватился, понудил себя и отвечал ему, что очень рад. Мы помолились; отец Климент успокоился, и мы после «девятого часа» все-таки очень приятно побеседовали за чаем. Я думаю, что он хотел испытать меня и, увидав, что я стал на молитву так охотно, решил в сердце своем, что мои посещения и беседы не слишком вредны.

Я говорю, что везде, во всем образе жизни его, в отношении к мирянам, к начальству и к братии, в разговорах как духовных, так и светских, у отца Климента светились два прекрасные христианские свойства: искреннее смирение духа и ревность, иногда даже, может быть, и слишком пылкая. Я уже сказал, что даже в самые веселые и спокойные минуты дружеской беседы и среди обыкновенных будничных забот, от которых вполне и монах освободиться не может, виден был у него нередко до тревоги доходивший страх греха... Этот страх, недоверие к себе и есть именно то, что называется обыкновенно смирением. Он думал о себе, как о подвижнике и монахе, в сердце своем очень низко и потому боялся сам себя, своих немощей, – боялся впасть в гордость, в самонадеянность, в гнев, в тщеславие, боялся своего воображения, опасался рассеянных мыслей... Словом, он был монах, положим, во многом еще страстный по природе и первоначальному воспитанию, но он добросовестно понимал это, видимо преувеличивал свои немощи и был, что называется в монастырях *внимателен* к себе. Хорошее

мирское воспитание, ученость, светское и тонкое образование ума, по отношению к монашеству, имеют и хорошие и дурные последствия. Конечно, образованный ум и тонкая подготовка сердца жизнью и художественно-научным воспитанием могут, с одной стороны, значительно облегчить тот внимательный анализ собственных побуждений и помыслов, который почти ежечасно необходим хорошему монаху; но с другой, эти условия первоначальной жизни в высших общественных и умственных слоях во многом, не только телесно, но душевно, так сказать, балуют человека, и аскетическая борьба, по вступлении в монашество, против закоренелых умственных и сердечных привычек становится подчас невыразимо трудна и болезненна. Личные привычки иногда сильнее общечеловеческих страстей. Отец Климент, конечно, помнил это. Кто знает, не винил ли он сам себя часто и за то, что не стал монахом гораздо раньше. И можно вообразить себе какую незримую ни для кого, кроме его старца духовника, бурю неизвестной борьбы против самого себя он выносил в этом тихом с виду,

столь мирном, разубранном разноцветными и душистыми цветами и со всех сторон огражденном густым лесом, Оптином скиту...

Не скрою, он был вспыльчив, очень вспыльчив. И вспыльчив он был и за себя лично и еще более за идеи. Каково было сознавать это такому добросовестному человеку и такому требовательному к себе монаху! Это должно было быть для него, иногда, нестерпимо.

У отца Климента был, например, очень преданный ему келейник; как первоначальные, столь трудно искоренимые привычки, привычки столичного чиновника и кабинетного ученого, так и самый род его занятий и обязанностей в монастыре, не позволяли ему самому заниматься уборкою комнат, топкою печей и т. п. – Правда, в монастырях заставляют иногда образованных людей делать подобного рода работу; конечно больше для их собственной пользы, для испытания их покорности, их ума и смирения; но долго какое же разумное начальство будет настаивать на этом?... Труды отца Климента и в скиту были большею частью кабинетные. Понятное дело

до какой степени ему необходимы были досуг, тишина, порядок... Келейник его (и теперь здравствующий) прекрасный, умный, серьезный, пожилой человек сам говорил, что с тех пор как о. Т. поступил к нему, ему стало несравненно покойнее. Он сердечно любил и уважал своего помощника; беседовал с ним дружески, обращался с ним братски; брал его всюду с собой и на железных дорогах, например, сажал его в тот же класс, в котором ездил сам по делам монастырских изданий и готов был с ним всем поделиться. Но он был вспыльчив и требователен. Он часто говорил неприятности келейнику за какие-нибудь ошибки и нарушения порядка. Однажды он так его оскорбил, что о. Т. молча ушел к себе и лег в отчаянии на постель, не зная, что ему делать и как угодить Клименту. Но не успел он, лежа, протосковать и несколько минут, как Климент вошел в его комнату и, став на колени, начал плакать и просить прощения. «И кроме того, говорил о. Т., и другие раза, если он скажет что-нибудь неприятное, тотчас старается со мной помириться, подходит ко мне, улыбается... Так что уж я привык и был

покоен»...

О. Т. рассказывал еще следующее.

«Если разбить или сломать у него вещь и ценную, он и внимания никакого не обратит, ни слова не скажет... Тут бы сам себя, кажется страсть как разбранил за это; а он ничего. А вот попробуй зашуметь, когда он пишет или читает, или какую-нибудь книгу или другую вещь не так положить, он весь так и вспыхнет... Я замечал у него еще вот что. По утрам мы часто пили вместе чай и беседовали; только вижу я, что он слушает меня сначала, а потом начнет по комнате ходить, что-нибудь делать, или книжку возьмет, или не глядит на меня... Я сперва думал, что ему скучна простота моих речей; однако скоро понял, что это не то... Пока я говорил вещи безвредные, средние, что называется, он беседовал со мной, а у меня, каюсь, есть привычка тоже судить и осуждать людей... И сам не замечу, как слово за словом я начну осуждения... Вот что ему не нравилось... Я и стал осторожнее».

Отец Климент, полный страха Божия и внимательности к настроению собственного

ума, боялся даже слушать речи своего келейника, когда тот, по некоторой рассеянности впадал, не замечая сам того, в грех осуждения. Он помнил правило духовников: человек, осуждающий ближнего (или с удовольствием участвующий в подобном осуждении), легко может быть наказан тем, что сам впадает в такой же грех или в ту немощь, которую так строго казнил.

Мне скажут: все это «мелочи, недостойные серьезного внимания». Конечно, это все тонкие психологические черты и вместе с тем в высшей степени будничные подробности. Но ни к кому поговорка: «день мой – век мой» не приложима так, как к монаху. Идеал монаха, это прежде всего «без греха в этот день сохраниться». Это даже высший идеал всякого христианина... И в церкви мы слышим молитву: «сподоби Господи в сей день без греха сохраниться нам»...

И чем серьезнее вникает и в учение церкви, и в свою душу христианин, тем более начинает он заботиться о тех поступках и мыслях своих, которые он прежде считал мелочами. Один опытный монах говорил мне: «пока

человек беспрестанно нарушает заповеди, впадает в блуд, в злобу, зависть и тому подобное, он более тонких падений своих и не замечает, и они его не тревожат; а потом, когда он освободится от грубых прегрешений своих, он начинает замечать всю мелочную свою нечистоту и несовершенство. Все равно как при постройках; лежат на полу щепки крупные и всякий сор; за щепками и разными обломками пыли и мелкого сора не видно, а когда все крупное вынесли – становится видно на полу этом мелкий сор».

К тому же разве этот ход ежедневных мыслей, эта нить тонких привычек чувства не обуславливает ли впоследствии, как невидимая со стороны непрерывная цепь психического развития, наши явные поступки, наши крупные дела?

По моему мнению, одно из главных художественных достоинств последнего произведения графа Льва Толстого, это именно то, что в романе Анна Каренина для читателя внимательного заметна вся та психологическая нить, которая сознательно проведена автором под блестящей картиной его внешней

драмы. Одно слово, сказанное тем или другим лицом в одной из первых частей, отзывается действием в последующей; одно сильное ощущение, для других лиц романа вовсе незаметное, изображенное автором в каком-нибудь месте, одна мысль, блеснувшая в уме того или другого героя, влекут за собой неизбежные последствия в будущем. Это отступление «в мир» и даже в «свет» мне было нужно, чтобы напомнить читателям живым, вовсе не монашеским примером, до чего тонкие мысли и чувства наши могут отзываться на самых резких поступках наших и влечь за собой иногда гораздо позднее серьезные, преступные последствия...

Понятно после этого, до чего монах должен быть ежечасно внимателен к тому, что он обязан по христианскому учению считать «пылью и мелким сором» души своей, и как важен для него один день без слишком явного греха проведенный. Полагается молиться даже и о тех грехах, которых мы не видим и вовсе не успеваем замечать.

И духовные писатели указывают весьма убедительно на эти мелочи и тонкости. На-

пример, Авва Дорофей:

«Один великий старец, говорил он, прохаживался с учениками своими на некотором месте, где были различные кипарисы, большие и малые. Старец сказал одному из учеников своих: вырви этот кипарис. Кипарис же тот был мал и брат тот час одной рукой вырвал его. Потом старец показал ему на другой, больший первого, и сказал: вырви и этот; брат раскачал его обеими руками и выдернул. Опять показал ему старец другой еще больший; брат же с величайшим трудом сперва много раскачивал его, трудился и потел и наконец вырвал и сей. Потом показал ему старец и еще больший, но брат, хотя и много трудился и потел над ним, однако не мог вырвать. Когда же старец увидел, что он не в силах сделать этого, то велел другому брату встать и помочь ему; и так они оба вместе успели вырвать его. Тогда старец сказал братьям: «вот так и страсти, братия: пока они малы, то если мы пожелаем, легко можем исторгнуть их; если же вознерадим о них как о малых, то они укрепляются, и чем более укрепляются, тем большего требуют от нас

труда; а когда очень укрепятся в нас, тогда даже и с трудом мы не можем одни исторгнуть их из себя, ежели не получаем помощи от некоторых святых, помогающих нам по Боге».

Усердие отца Климента, его христианская ревность выражались не только в постоянной, со стороны даже видимой, борьбе с самим собою, с характером своим, со слабым здоровьем, с привычками мирского «комфорта», против которого он восставал в принципе, по которому он невольно и часто подчинялся[23]; нет, эта ревность находила себе исход и в действии на других. Не говоря уже и о том полезном влиянии, которое он мог иметь и на знакомых ему православных мирян и в некоторых отношениях на младших и новоначальных братьев скита, отец Климент пользовался всяким случаем для обращения иноверцев в православие. Он привлек к нему одного из братьев своих[24]; обратил и присоединил, после долгой борьбы с отцом-пастором, престарелую мать свою. Третий брат его, генерал Зедергольм, принимавший участие в последней компании и незадолго до смерти отца Климента скончавшийся на Кавказе, в последние годы тоже начинал, под влиянием брата монаха, думать о миропомазании и

присоединении к православию. Отец Климент жалел, что брат умер в таких еще сравнительно ранних годах и еще больше сокрушался о том, что брат умер протестантом, а не православным, что его колебания и промедления разрешились неожиданною кончиной. Зная характер отца Климента, я подозреваю и почти уверен в том, что он и в этом случае находил какой-нибудь повод винить самого себя. Какое-нибудь нерадение, недостаток ревности и заботы о спасении братниной души, недуховность собственная, неумение и т. п.

Мать, как я сказал, он обратил под конец ее жизни после долгой борьбы с отцом[25]. Отец сначала отговаривал жену свою, а потом просто не позволил присоединиться ей к православию. Отец Климент победил его наконец его же собственным оружием, главным оружием протестантской теологии. Он начал настаивать на принципе свободного личного толкование св. Писания.

«Если мать моя разумна и свободно убедилась, что православие правильнее, зачем же вы хотите стеснять ее свободу?» Отец на основании этого довода уступил.

У Зедергольма отца была с сыном долгая борьба, долгая полемика. И она кончилась тем, что отец сознался, «что только один непобедимый стыд удерживает его самого от присоединения к восточной церкви; потому что он сам пастор!» Один стыд, а не разум; разум сдался.

У Климента была по поводу вопросов веры переписка с отцом на немецком языке. Отцовских писем я не видал; но собственные свои письма Климент сохранил в копии, и начальство скита доверило их мне. По ответам Климента легко можно понять, что писал ему отец. Последовательная переписка по вопросам веры начинается летом в 63-м году и прекращается зимой 64-го года. В то время Зедергольм был уже монахом. Но есть еще одно особое письмо его к отцу же, от 59-го года, из Петербурга. Оно довольно любопытно и доказывает, что старому пастору очень не нравилось настроение сына. Несмотря на то, что в это время (в 59-м году) уже прошло шесть лет со дня присоединения и миропомазания Константина Карловича, отец, должно быть, продолжал питать надежду на какие-то более фи-

лософские, чем собственно евангелические рассуждения. Так видно, по крайней мере, из сыновнего ответа. Но молодой Зедергольм, хорошо знакомый с философскими системами еще на студенческой скамье, вероятно, был в то время в первом жару православного прозелитизма и искал лишь одного: как укрепить в себе простоту веры. Может быть он тогда или желал забыть все противоречивые основы и разнообразные выводы германской и эллинской метафизики, желал, по выражению акафиста, «растерзать афинейские плетения», или хотел лишь воспользоваться тою силой диалектической выработки, которую дает уму философская образованность, употребляя эту силу на утверждение в сердце своем отвлеченных понятий православного богословия. Как бы то ни было, письмо о котором я говорю, хотя и почтительное с виду, весьма раздражительно и даже несколько колко.

«С.-Петербург, 20 июля, 1859.

На твой вопрос, способен ли я еще чему-нибудь сердечно радоваться, по чистой совести могу ответить тебе:

«Да». Слава Богу! Чувство внутреннего довольства и радости мне небезызвестно. Но в настоящей жизни невозможно, чтобы все, а следовательно, и настроение человека было всегда в одинаковом положении. Характер мой, как ты знаешь, с самого детства более склонен к серьезности.

Я не могу быть равнодушным к тому, что мы в наших воззрениях и в беседах никогда не можем понять друг друга. Тебе известно, как я в продолжение многих лет старался достигнуть этого согласия. Чем больше я делал усилий и чем больше желал соединиться с тобою в воззрениях наших, тем прискорбнее было мое разочарование. Впрочем, вижу теперь, что я оставлял без внимания многое, о чем раньше следовало бы мне подумать. Ты стоишь на высокой точке спекулятивного мышления. Это мышление философское не может признать с собою равноправным никакое другое мышление: оно может передаваться другому, но не может принять возражений мышления обыкновенного именно потому, что сознает себя

стоящим на высшей точке. Напротив того, я скорее обыкновенный мыслитель. Не сочти это за скромность, но это действительно так: я не совсем понимаю твои философские доводы. Несмотря на самое искреннее желание и долголетние усилия (с 1846 года, а может быть, еще и раньше), я не понимаю тебя и пришел к тому убеждению, что понимать тебя не могу.

Чтобы достигнуть спекулятивного мышления, мне недостает многого; может быть, и времени; попросить тебя сойти с твоей высоты было бы, может быть, неблагоразумно, тем более что уже одна попытка такого рода, на которую я сильно рассчитывал, совершенно не удалась.

Что же нам теперь остается?

Несмотря на все это, продолжать делиться, нашими философскими и религиозными воззрениями? Это значило бы, без надежды когда-нибудь понять друг друга, возобновлять воспоминание о разногласиях, господствующих между нами, без пользы растравлять раны. В последнем письме твоем ты сообщаем мне, как ты счастлив

тем, что принадлежишь к евангелической церкви. Что же я могу сказать тебе на это?!

Все это привело меня к следующему заключению, которое я в продолжение нескольких месяцев зрело обдумал. Я считаю, что все философские и религиозные прения, сообщения и даже легкие намеки между нами совершенно бесцельны, а в некотором отношении даже вредны, потому что они могут только возобновлять скорбные чувства.

Будем, любезный батюшка, говорить обо всем другом, только не о философии и религии. Иначе будет повторяться все то же – что ты будешь мною недоволен, а я не буду тебя понимать.

Уж лучше разом с этим покончить. Это не может и не должно портить взаимные наши отношения, напротив, это будет их укреплять. Ты не говоришь про философские предметы ни с одним из братьев моих, а это не уничтожает взаимной между вами любви. Пусть будет так же и со мною.

Мне только жаль, что ты отличал

*меня до сих пор от братьев и считал
меня способным к мышлению.*

*То, что пишу тебе, то я зрело обдумал
и пишу в полной уверенности, что ты
поймешь мои чувства. Одна любовь к
тебе ставит меня в необходимость
решиться на этот шаг.*

*С нетерпением ожидаю твоего отве-
та. Прошу тебя сообщить содержание
сего письма моего матушке.*

Константин».

Из этого первого письма уже достаточно явствует, что убеждения пастора Зедергольма отличались некоторым личным философским оттенком, который он естественно хотел навязать сыну, далеко и совсем в другую сторону клонившемуся. Письмо это, признаюсь, мне не совсем даже нравится. Оно слишком колко и верно; монахом, позднее, Константин Карлович не написал бы его отцу (который, заметим, любил его, видимо, больше других сыновей). Позднее, в течение целого года (1863–1864 годов) продолжалась у пастора с сыном-монахом та непрерывная переписка по вопросам веры, о которой мимоходом было уже сказано. Здесь мы ею займемся по-

дробнее. Я не думаю, чтобы Зедергольм отец имел и в это время какую-нибудь надежду повлиять на сына в своем духе. Если человек ученый и образованный обращается в православие, если он переходит в него из иного ли исповедания, или из деизма, или из безбожия, то его уже поколебать сызнова невозможно. Он всякое недоумение свое, всякое охлаждение, всякую шаткость мысли сочтет грехом, «искушением», то есть испытанием.

Старик Зедергольм видимо не тверд в основах своих. Он, не желая признавать ничего кроме Евангелия, предлагает сыну спорить только на этом одном основании. Он даже дарит ему книжку – *Евангелие* с немецкой надписью: «Nur auf diesem eining Grunde».

Сын согласен. Но как же быть? Евангелие признает чудеса. Пастору чудес признать не хочется, потому что он их сам не видал. Сын зовет отца рационалистом; пастор с негодованием отвергает это имя; он – евангелик. Сын опять отвечает текстами из Евангелия. Отец говорит, что он не рационалист, а евангелик;

но в то же время старается все свое учение основывать больше на разуме, чем на вере. Он даже пишет какое-то богословское сочинение, в котором хочет разумом доказать возможность воскресения Христова. Сын радуется и пишет ему:

«30-го мая, 1863.

Желаю тебе, дражайший батюшка, полного успеха в труде твоём «о Воскресении Господа». Хорошо было бы, если бы ты мог убедить нынешних саддукеев. Я не знаю, что сказать о том, что большая часть ученого человечества отвергает главные догматы христианского учения, как, например, догмат Пресвятой Троицы или догмат Воскресения; после того уже почти ничего не остается от христианства. Только я не постигаю, как ты посредством учености и умозаключений хочешь доказать то, что выше человеческого разума и всех наук, как, например, Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Для этого прежде всего нужна живая вера, которую нельзя передать учеными доводами, так же как нельзя ими передать и чувство изящ-

ного.
Константин».

Еще в одном письме отец Климент писал старику-Зедергольму так:

«В области веры я полагаю, что умозаключениями можно только опровергать возражения разума, противопоставляемые вероучению, не имеют глубокого основания; но главные вопросы верования (как например, учение о воскресении, о вознесении Иисуса Христа) нельзя доказать и постигнуть разумом; заблуждающимся мы должны только делать намеки, так сказать, потому что вера выше и тоньше разума. Вера не тонет на воде, не сгорает в огне; разум не может с нею сравняться; он даже и постигает ее не совсем точно; стоит перед фактом веры, но не в силах объяснить его».

Пастор возражал на это письмо, говоря: «а я не могу согласиться с тем, что вера выше разума». Ответ на это Климента я выпишу здесь почти весь:

«В письме твоём от 14 мая ты пишешь, что не можешь согласиться с

тем, что вера выше разума и что то и другое от Бога. Без сомнения, и разум от Бога; но как в вере, так и в разуме есть известные степени. Во-первых, есть плотский (*υλικός*) разум (Римл. 8, 5), который заботится о материальной жизни и направлен только к усовершенствованию ее; он делает разные открытия, изобретает, например, железные дороги и проч. Далее он не идет. Во-вторых, есть разум душевного человека (*ψυχικός*). (Коринф. 2, 14), который заботится о благочестивой, нравственной жизни и усиливается приобретать добродетели. Эта степень разума ведет к вере, то есть кто благоразумен, тот понимает, что обязан верить и без сомнений принимать Евангелие Христово. От веры в Бога переходим мы, как ты правильно заметил, к жизни по Богу, это есть истинное христианское верование, когда мы с твердостью и без отдыха стремимся к христианской жизни. Итак, кто верует и живет по учению Христову, тот по многому старанию достигает степени духовного человека (*πνευματικός*). Тогда как душевный че-

ловек заботится о себе и не пренебрегает материальной жизнью с ее заботами и выгодами, духовный человек живет только в вере и по вере, не заботится о теле своем, возлагает всю печаль свою на Господа, без страха оставивается среди пустыни, не боится диких зверей, потому что знает, что и они – творения общего Создателя, на аспида и василиска наступит и попрет льва и змия (Псал. 90, 13), и аще что смертное испиет, не вредит ему (Марк. 16, 18). Духовный разум, то есть разум духовного человека, освещаемый чрез веру, чрез исполнение заповедей Христовых и чрез особенную благодать и откровения Господа, понимает и обнимает многое, чего не только плотский, но и душевный человек понять и обнять не может; и так как всякого человека с обыкновенным его человеческим разумом многие могут постигнуть, то тем более духовный человек смотрит на все верно, судит и все постигает, но его самого никто не может судить и постигнуть (I Коринф. 2, 15). Итак, если разум в средней своей степени, то есть когда он забо-

тится о душе, ведет нас только к вере, получает всю свою силу и свет, как же можно ставить разум выше веры? Это было бы все то же, если бы народную школу поставить выше гимназии или даже университета. «Желание (говоришь ты) отдать себе отчет как? что и почему? – наверно от Господа». Конечно так. Но безошибочный путь к этому лежит чрез веру и чрез жизнь, сообразную заповедям Христовым. Кто же ищет другого пути и преждевременно хочет узнать это: как и почему? тот похож на человека, который, не быв в гимназии, не учившись, хочет постигнуть математику или метафизику со всеми их тонкостями. Такой никогда ничему не выучится и никогда ничего не постигнет; точно так же не постигнет своей цели и тот, кто обыкновенным своим разумом хочет постигнуть все то, что постигается верой и не одною только верой, но и исполнением заповедей Христовых и благодатию Божиею. Без сомнения, вера тоньше и пронизательнее разума и дает человеку высшее и тончайшее понимание. Разум возбуж-

дает сомнение и страх, вера дает надежду. В христианской Церкви были примеры, что люди чрез веру не сгорали в огне и не тонули в воде. С одним своим разумом человек не может этого сделать. Господь сказал, что уверовавших будут сопровождать знамения (Марк. 16, 17)».

Конечно борьба была не равна, и пастор, раздражаясь по-видимому, начинал не раз даже язвить монашество. Например, ему захотелось кольнуть сына за то, что он ставит кресты над каждым письмом своим... Сын отвечает на это так:

«Ты спрашивал меня, любезнейший батюшка, что означает крестик в начале моих писем? Он означает то же самое, что и крест, изображенный рукою при благословении или когда крестятся при входе в дом и т. д. Здесь прилагаю из сочинений Кирилла Иерусалимского место, относящееся до этого предмета. Ты спрашивал: «Не есть ли это нечто официальное, твоим начальством предписанное?» Извини, любезный батюшка, если я скажу тебе, что наша жизнь издали кажется-

ся тебе совершенно иначе, чем она есть. Наша жизнь нисколько не официальная или форменная, но скорее патриархальная. Если что-нибудь внешнее и обыкновенное кажется тебе как странно, то сколько труднее показался бы переворот внутренней жизни? Что имя Иисуса Христа Распятого, произнесенное с верою движением губ, то же самое есть и изображение креста, когда оно с верою изображается рукою или каким-нибудь другим образом. Кирилл Иерусалимский пишет: «Не будем стыдиться исповедовать Распятого; смело да изображаем знамение креста на челе и на всем, на хлебе, который едим, на сосуде, из которого пьем; да изображаем его при входе и при выходе, когда ложимся спать и встаем, когда мы на пути или когда отдыхаем. Он есть великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Он есть великая милость Божия: знак для верующих и страх для злых духов».

Есть еще одно письмо отца Климента к пастору, не знаю, в какое время посланное. Старик Зедергольм еще в 38-м году (как сооб-

щали мне лица, заслуживающие доверия и знавшие его еще в то время лично) по должности суперинтендента объезжал, кажется, тогда смежные с Москвой губернии для посещения тогда смежные с Москвой губернии для посещения рассеянной по ним протестантской паствы Он заехал между прочим и в Оптиную пустынь Архимандрит Моисей ему очень понравился; понравился и строй обители, и цветники, и почти все. Свои благоприятные для Оптиной впечатления суперинтендант записал очень неразборчивым почерком на маленьком листке бумаги. Заметив, что роз тогда в Оптиной не было, он почему-то спешит заключить, что монахи считают этот цветок греховным (sundliche). Не доволен старик Зедергольм только одним, именно тем, что Оптиные столь серьезные монахи – «эгоисты», не заботятся о народной пользе и не устраивают школ. Много лет спустя, пастор разыскал в своих бумагах этот листик и в добрую минуту прислал его сыну, желая ему доставить удовольствие своими похвалами. Отец Климент и тут нашел возможность в своем ответе соединить приветливость с по-

лемикой.

«Сердечно благодарю тебя за описание посещения твоего нашего монастыря в 1838 году. Я читал его с большим интересом и другим давал читать. Но заключение твое не согласуется не только с благоприятным твоим описанием нашего братства, как оно было за двадцать пять лет тому назад, но и противоречит дружелюбным впечатлениям твоего сердца. Ты полагаешь, что монахи для средства забывают цель. Например, что они должны бы были устроить у себя школу для детей, для того чтобы жизнь и деяния их не были бы только эгоистичны. Но не достаточно ли того, что самый монастырь есть школа для трехсот братии, которые в нем духовно образуются и воспитываются, и твои же хорошие отзывы о наших монахах лучше всего говорят о плодах этого нравственного воспитания. Приведу еще следующий пример: не достаточно ли, что студенты учатся в университете; было ли бы целесообразно требовать от них, чтобы они в то же время были еще учителями в народ-

ных школах? В Петербурге, в Италии и в других местах уже пробовали это, но кончилось тем, что студентам не оставалось времени и самим учиться. Что же касается до содействия общенародному благу, то в этом отношении монастыри не бесполезны, только в них обучаются не дети, а взрослые. Ты видел сам, какое большое стечение народа всех сословий бывает у нас, и кто приходит с верою, тот непременно получает пользу».

Кроме успешной катехизации родных своих отец Климент обратил и несколько посторонних иноверцев.

В Оптинском скиту записаны имена лиц иноверного исповедания, которые в течение последних лет были обращены в православие при большем или меньшем участии Оптинских монахов. В обращении некоторых из них отец Климент принимал деятельное участие. Последним предсмертным делом его было присоединение одного немца (орловского кондитера, кажется), женатого на русской. Может быть, этот немец начал с того, что хотел доставить удовольствие жене («путей у

Бога много», говорит церковь); но этого чувства ему вероятно было мало; ему нужны были доводы, и отец Климент убедил его. Присоединение этого лютеранина произошло дня за два до смерти Зедергольма. Он был уже очень слаб, все лежал и просил келейника не пускать к себе никого. Но когда он узнал, что это прозелит желает взглянуть на него, – он встал, принял его, долго говорил с ним и даже, стоя на ногах, восклицал: «вот теперь я здоров! Вот теперь я могу все делать... теперь мне хорошо!».

У отца Климента было много почитателей и друзей между монахами, особенно между теми, которые умели понимать его, но в изнеможении сил своих он не искал никого из них видеть; чувство личной приязни было в глазах его, конечно, невинное и даже хорошее чувство, но не оно было идеалом его... Связь душ о Христе, любовь в Боге, ищущая взаимного спасения за гробом, вот что считал он наивысшим. У него это не было фразой или обязательным чувством; долгим духовным старанием оно дошло до естественного, невольного, сердечного порыва; вошло ему «в

плоть и кровь», как любят выражаться нынче... Вот почему вид этого новообращенного и вовсе постороннего немца был ему в предсмертные часы приятнее всякой более земной, более пристрастной дружбы.

VI

Отец Климент был тем, что называется катехизатор, но, как еще в начале я говорил, не мог быть старцем.

Катехизатор убеждает, старец руководит. Катехизатор передает с успехом общие основы учения; он не берет на себя нравственную ответственность за частные дела, он не влияет на подробности жизни; старец соглашается давать прямые советы, какой путь избрать в каждом отдельном случае, он решается иногда даже повелевать тем, кто с верою и покорностью обращается к нему; старец осмеливается, в пределах допущенных учением, разнообразить свои требования и разрешения до нельзя, смотря по личным условиям и по мере сил ученика и духовного сына своего... Старцы нередко решают одним словом своим: «да» или «нет» самые важные семейные дела, вопросы о браках, о разлуках и примерениях, о наследствах и т. п. Вот в чем разница.

Отец Климент мог превосходно действовать доводами; его значительные светские познания, авторитет его учености, его обшир-

ная и основательная духовная начитанность, логическая ясность его речи и в особенности его умение говорить именно тем языком, каким мы все говорим (умение, которому, к сожаленью, так чужды многие из лучших монахов), вот что придавало особый, исключительный вес его словам в глазах образованных людей такого рода, которые не в состоянии стать прямо на духовную точку зрения. В подобных случаях он был иногда незаменим. Глядя на него и слушая его, я часто с сокрушением думал о том: какую бы исполинской силой могло обладать духовенство наше, если бы в среде его было больше людей, подобных Клименту, светски образованных и по-мирски ученых, но по воле и убеждению склонившихся пред строгим императивом церковного учения...

Многие светские люди будут почтительно слушать речи хорошего монаха, не по-светски воспитанного; они будут уважать его личный характер, будут подходить под его благословение; но умственные доводы такого монаха, иногда уже потому долго не будут иметь полного веса в их глазах, что этот примерный и

добрый монах не тем языком говорит, каким говорят в светском обществе, не тому учился, не то, совсем не то, может быть, чувствовал, что чувствовали в жизни они... И даже аскетические подвиги самого высшего порядка, совершаемые людьми иного воспитания, иной образованности, иных привычек, могут легко таким, не на духовной (мистической) точке зрения стоящим людям казаться как будто легкими для *тех*, для *иных*, для чуждых им по первоначальному воспитанию людей. Средний и даже небольшой телесный подвиг человека в начале жизни своей светского и более или менее благовоспитанного человека избалованного хотя бы тем умеренным комфортом и тою полною свободой, которые доступны в наше время образованным людям среднего положения, больше трогает нас, чем самые непостижимые уму самоистязания человека простого и вообще иначе, не по-светски, воспитанного. Я объяснюсь нагляднее.

Видит светский человек на Афоне болгарина или грека, живущего в сырой, почти недоступной пещере, или слышит рассказы о нем. Пустынный этот питается давно, в течение

многих уже лет лишь сухарями и водой, и ночи проводит на молитве; советы его уважаются самыми влиятельными лицами Святой Горы. Его ставят в пример младенчества о Христе; умом он муж духовного совета; но сердцем он – незлобивый младенец... Отшельничество его сурово до непостижимости; один почитатель его просит его убедительно позволить у себя хоть раз переночевать. Пустыжник находит это не по силам тому, но уступает... Все тело посетителя покрывается за одну ночь какою-то сыпью с пузырями от простуды, до того пещера сыра.

– Это любопытно! Это удивительно! – Говорит светский человек; но тот час же его мысль возражает ему:

– Да! Но как живут в миру эти простые греки и болгары? Не живут ли они часто без потолка, на земляном полу? В домах у них нет печек, а только очаг в роде костра, который и в пещере можно развести... Что едят в миру эти люди юга? Перец, маслины, хлеб и самый грубый сыр... Достичь, стало быть такому греку или болгарину этого легче, чем даже русскому крестьянину, который привык хоть к

теплу зимой в избе...

И хотя такое рассуждение светского христианина не совсем правильно; хотя истинный христианский разум ответит на это возражение совсем иначе, ибо и между монахами из пастухов и дровосеков такого рода люди выходят очень редко, но я говорю не о правильности, а только о естественности подобного возражения; о том, что для иных людей знакомство с монахами, подобными Клименту, который жил в хорошеньком домике, очень любил тепло топить у себя и спал на хорошей кровати может быть весьма полезным предварительным средством, чтобы понять и афонского пустычника. По внешним видимым подвигам последний, конечно, выше; по внутренней борьбе – неизвестно кто. Несомненно одно – что Клименты вообще таких греков и болгар, у которых переночевать безнаказанно нельзя, чтут неизмеримо выше себя, и этого одного довольно. Ибо, владея нашими формами, они могли бы лучше всякого другого объяснить нам сущность христианства (так, как понимает его церковь, а не так, как хотят понимать теперь его многие исклю-

чительно в смысле школ и благотворительных заведений).

Когда кто-нибудь из нас, мирян известного рода, видел этого бывшего московского студента даже и в его светлой иноческой келье и пил с ним не только обыкновенный чай или кофе, но и какао (которое он любил между прочим за то, что оно отнимает аппетит и, таким образом, облегчает немного строгость поста), то на него с одной стороны это действовало примиряющим образом, заставляло больше верить, так сказать, в физическую возможность монашества для всякого, кто бы только искренно пожелал его; а с другой стороны, внимая убеждениям Климента и слушая его рассказы о прежних и нынешних Оптинских старцах, глядя на его честное, одушевленное лицо, каждый из нас начинал все больше и больше постигать ту истину, что сущность христианского самоограничения (аскетизма) не столько в достижении явном, сколько в ежеминутной, часто никому невидимой борьбе, имеющей свои и невинные, простые и чрезвычайно высокие, неопытному даже и непонятные утешения.

Однажды, когда Климент говорил мне долго и прекрасно о душе, о понуждении себя, о Промысле, я спросил у него:

– Хорошо все это, но я прошу вас, скажите мне откровенно: тут-то, на земле, есть ли хоть столько приятного у монаха, сколько бывает у мирянина, при обыкновенной смене печалей и радостей жизни?

У Климента глаза заблестали:

– «Есть, есть и гораздо больше! Надо только иметь полное доверие к старцам. А без старчества и внутреннего послушания трудно и понять как могут жить на свете иные монахи. Когда я по нужде бываю в миру, я не дождусь вернуться сюда. Мне скучно, если я не в Оптиной».

Какие же могут быть радости и утешения в жизни добросовестного инока, который дал клятву отречения «от мира»? Ведь этот «мир» везде; он не оставляет человека и в самом строгом общежитии, он преследует его в безлюдной пустыне. «Мир» – это не столько совокупность внешних предметов, возбуждающих наши чувства и страсти, сколько те внутренние задатки возбуждений, которые мы но-

сим в себе. Внешние предметы – это руки удаляющие по струнам, но струны эти находятся в сердце нашем. Страсти мы носим в себе, и давая клятву отречения, монах дает обещание бороться ежечасно против своего внутреннего «мира». Но куда от него скрыться? Я сказал, что этот «мир», носимый нами в недрах души нашей, преследует даже отшельников в самых безлюдных пустынях. Великие учителя иноческой жизни очень немногим советуют, например, совершенно разобщаться с людьми.

Непомерное самолюбие, неутолимый гнев на людей, ужасное уныние и сладострастные мечты терзают в одиночестве и безмолвии такого пустычника, который удалился от людей без предварительной и долгой подготовки. Способность к раннему «безмолвию» есть особенный дар благодати.

Большая часть отшельников предварительно испытывают и приготавливают себя в многолюдных общежитиях. Так делается и теперь на Афоне. В общежитиях вырабатывается уступчивость, отречение воли, в общежитии человек отвыкает от своевольных жела-

ний... Столкновения, частные оскорбления от братьев (даже и от хороших людей) неизбежны и душеспасительны. Оскорбитель виноват, положим, но оскорбленному это на пользу... Идеал в том, чтобы всякий находил сам себя вечно неправым и ежеминутно грешным...

Это ужасно! Какие же тут возможны утешения? Какие радости?...

Да! Внутренний подвиг серьезного монаха очень труден, но подвиг этот влечет за собой особого рода вознаграждения и здесь на земле.

Упрощаются требования, вырабатывается в человеке больше прежнего способность благодарить Бога за то, что по крайней мере *не хуже*. Все ничтожные, будничные, так сказать, отправления жизни озаряются высшим идеальным смыслом. Плохая, грубая пища радует, иногда монаха больше, чем могут веселить тонкие блюда человека ими избалованного. Прогулка какая-нибудь в хорошую погоду, отдых после долгих служб и тяжелых послушаний, свидание с близкими людьми, к которым и монахам не запрещается иметь

умеренные и разумные чувства. Все эти общечеловеческие права не отняты и у монаха. Внимательный к себе человек и за них сумеет поблагодарить Бога... И отца Климента я часто видел очень веселым, разговорчивым, шутливым даже, за чашкой чаю, в прекрасном лесу и на дружеской прогулке, за чтением книги какой-нибудь в келье... А великолепные церковные службы, столь глубоко осмысленные, которые он знал и постигал так хорошо, так ясно!..

Я видел его служащим. Я думал всегда, что в эти торжественные минуты он был особенно счастлив. И как он мне казался хорош собой тогда!.. Он ростом был не велик, плешив и без клобука много терял. Но я не раз видел его служащим в клобуке и мантии. Тогда он был красив. Черный клобук, флер, который ниспадал сзади на золотое облачение, увеличивал его рост... Из под пышной ризы иерея так осмысленно влачилась по земле черная мантия личного смирения... Он ходил тихо, произносил прекрасно: в голосе и в интонации его не было и тени той грубости, которая так нередко нас поражает в возгласах и речах

многих других священников и монахов, менее Климента благовоспитанных, и так неприятно действует на иных мирян, справедливо взыскательных с этой точки зрения.

Что отец Климент был счастлив, служа в церкви, в этом нет сомнения. Я случайно раз услышал, как он обрадовался, когда будучи одним из младших иеромонахов в скиту, при мне он получил от игумена приглашение всегда участвовать в соборных службах монастыря...

– «Я очень рад! Я очень рад!» повторял он, и лицо его стало такое веселое.

И мало ли еще какие другие земные утешения предстоят тому, кто решился избрать иноческий путь!.. неожиданное умиление на принудительной и наскучившей молитве; какая-нибудь удача в занятиях, любопытное чтение, одно какое-нибудь ласковое слово и ободрение старца, иногда даже шутка его... Самые оскорбления и неудачи могут служить источником особенного рода отрад.

Без оскорблений, без неудач и без собственных проступков жить нельзя. Но впечатление от обиды зависит от нашей точки

зрения; и оскорбленному монаху предстоит большая духовная радость, если он весело и кротко перенесет какую-нибудь несправедливость и глупость ближнего. Неудача объясняется милосердием Божиим для нашего исправления.

– Бог *взыскал* меня, Бог *посетил* меня... Называя, Он ищет исправить меня...

За проступком и грехом, за гневом, за движением зависти, за мечтами о женщинах за честолюбивыми порывами следует нередко несказанная сладость покаяния и даже слез...

Люди близкие к отцу Клименту заставляли его не раз плачущим в келье пред образом.

Слезы не всегда бывают тяжелы и горестны, в них иногда величайшая отрада...

Относительно скорбей вообще у монахом существуют такие суровые утешения, от которых человек, не привыкший к монашескому мировоззрению, легко может придти в ужас. Но и эти, страшные в земном смысле утешения могут быть очень действительны при известного рода напряжении ума.

Вот что говорит блаженный Иоанн Карпатский в слове постническом и утешитель-

ном (извлечено из книги Добротолюбие).

«Никогда не подумывай превозносить выше инока мирянина, имеющего жену и детей, который утешается тем, что делает многим добро и обильно подает милостыню и при этом ничуть от злых духов не искушается, и не считай себя ниже такого мирянина в благоугождении Богу и не презирай себя как погибающего. Я не говорю уже о том случае, если ты живешь непрочно, терпя монашеские скорби, но даже если ты при этом и очень грешен. Скорбь твоей души и твои страдания выше пред Богом, чем житейские добродетели; сильная печаль твоя и жалобы, и вздохи, и сетования, и слезы, и мучения совести, и недоумение помысла, и самоосуждение, и рыдание, и плач ума, и вопли сердца, и сокрушение, и смущение, и презрение к себе, и бессилие, и уничижение – все это и подобное этому случающееся с иноками, ввергаемыми в железную печь искушений, почетнее и приятнее пред Богом, чем благоугождение мирянина».

Разумеется, добросовестному монаху легче чем нам свыкнуться с подобными мыслями,

ибо в течение долгих лет он слышит и читает их и в церкви, и в келейном одиночестве, и в беседах с духовным наставником своим, и за трапезой, и в пении, и в проповеди, и в житиях, и в богословских книгах... Прибавлю еще и то, что всякий род жизни и всякое занятие имеют свои горести и свои особые радости. Объясните толковому торговому человеку или «хозяину» какому-нибудь, как страдает и чему радуется художник. Он даром не возьмет этих радостей, покупаемых такою дорогою ценой. Уверьте человека, привыкшего к покойной жизни и к безопасности благоустроенных городов, что моряку на море, и воину в бою бывает, иногда, очень весело. Он поверит, быть может, на слово... Но не скажет ли он: «Да идет мимо меня сия чаша!» пусть так, но не приятно ли видеть, когда мирный и, быть может, по личным привычкам робкий гражданин восхищается подвигами воина и преклоняется пред ними?...

Пусть же христианин неспособный сам стать монахом (это не есть необходимость) умеет чтить и понимать хорошего инока, хотя бы «в теории», так как нередко умеет пони-

мать умный делец страдания художника; пусть он чувствует его, как чувствуют храбрых солдат и генералов люди, неспособные сами взять оружие в руки.

Это будет гораздо справедливее и умнее, чем отрицать важность и заслуги того, к чему мы сами не чувствуем себя способными.

VII

Я не стану распространяться здесь о пользе, которую я сам во многих отношениях извлек из бесед моего высокообразованного и верующего друга. Эта идеальная польза есть приобретение моего внутреннего мира, о котором было бы неуместно сообщать в печати. Здесь речь идет не обо мне самом – себя я должен коснуться лишь там, где это мне кажется необходимым для лучшего объяснения характера отца Климента.

Например, по вопросу о католицизме. Здесь, чтоб указать на катехизаторские наклонности покойного и обрисовать живым примером его ревность, я вынужден сознаться, что к католицизму у меня есть некоторое пристрастие, не в смысле догматическом, конечно, не в смысле чисто религиозном, но, так сказать, в культурно-политическом. Этими вкусами моими я очень много тревожил отца Климента; по этому поводу у нас с ним было много горячих споров; он сам заводил об этом предмете речь, увещевал меня, стыдил, преследовал за это на словах и даже в

письмах; зимой – в моей или его келье, летом – в лесу на прогулках, спор этот не раз возобновлялся. В Москве, в Петербурге, везде я от времени до времени получал от него письма в которых он касался этого предмета, по его мнению очень щекотливого, по моему очень простого и ясного. Сначала я думал, что он не понимает меня, что он смешивает во мне совершенно независимые друг от друга чувства и понятия, но потом я убедился, что не он меня, а я его не понимал. Но, наконец он решился договориться до конца. И тогда я его понял и хотя все-таки остался при своем взгляде, но увидел, что разница между нами большая. Я никак не могу забыть ту исполинскую культурную борьбу ясного и выработанного старого с неопределенным и неясным новым, которая ведется теперь по всему земному шару; он ни на минуту не хотел вполне оставить заботу о спасении души, не только своей собственной, но и ближнего. Я, защищая некоторые стороны папства, думал о судьбах Европы, столь сильно, к несчастью, влияющей и на Россию, он, тревожно и настойчиво возражая мне, думал о моей душе. Он бо-

ялся даже этой искры сочувствия папизму; он опасался, чтобы политическое сочувствие, ясно отделяемое мною от личных религиозных верований, не перешло незаметно *во что-то иное*. Однажды, слушая мою апологию католичеству, он повторил несколько раз, с укоризною качая головой:

– Смотрите. Берегитесь.

– Что такое? Сказал я смеясь, не бойтесь, я католиком не сделаюсь; но мне жаль только, что большинство нашего духовенства не имеет той ревности, которую имеет католическая иерархия, и сверх того мы, к несчастью, так глубоко связаны с западом, что всякое вредное движение *там*, позднее, вы знаете, отзывается и у нас. Наша церковь еще не пережила тех открытых гонений, которые вот уже скоро век терпит папство от западных либералов а, между тем, и у нас церковь, если не потрясена, то уже подкопана со многих сторон.

– Послушайте, – воскликнул Зедергольм горячо. – Вы долго не были настоящим христианином; вы обратились поздно. Я понимаю, что это очень полезно *для начала* уважать

всякую веру, даже буддизм, и предпочитать всякое исповедание пустоте мнимого прогресса. Да, для начала обращения... Но останавливаться на этом нельзя... надо идти дальше и чувствовать духовное омерзение ко всему, что не православие.

– Зачем я буду чувствовать это омерзение? – воскликнул я. – Нет! Для меня это невозможно. Я Коран читаю с удовольствием...

– Коран – мерзость! – сказал Климент, отворачиваясь.

– Что делать! А для меня это прекрасная лирическая поэма. И я на вашу точку зрения не стану никогда. Я не понимаю этой односторонности, и вы напрасно за меня опасаетесь. Я православию подчиняюсь, вы видите сами, вполне. Я признаю не только то, что в нем убедительно для моего разума и сердца, но и то, что мне претит... *Credo quia absurdum...*

– В учении церкви не может быть абсурда, – горячо возразил Климент.

– Вы придираетесь к словам. Я выражусь иначе: я верую и тому, что по немощи человеческой вообще и моего разума в особенности,

что по старым дурным и неизгладимым привычкам европейского, *либерального* воспитания кажется мне абсурдом. Оно не абсурд, положим, само по себе, но для меня как будто абсурд... Однако я верую и слушаюсь. Позволю себе похвастаться и впасть на минуту даже в духовную гордость и скажу вам, что это лучший, может быть, род веры... Совет, который нам кажется разумным, мы можем принять от всякого умного мужика, например. Чужая мысль поразила наш ум своей истиной. Что же за диво принять ее? Ей подчиняешь невольно и только удивляешься, как она самому не пришла на ум раньше. Но веруя в духовный авторитет, подчинять ему против своего разума и прочих вкусов, воспитанных долгими годами иной жизни, подчинять себя произвольно и насильственно, вопреки целой буре внутренних протестов, мне кажется, это есть настоящая вера. Конечно, то, что я говорю, не слишком смиренно. Это – гордость смирения. Знаю, знаю все это, но, простите, я хочу, чтобы вы поняли, что во мне происходит. Поэтому будьте покойны. Я к иезуитам не пойду; хотя даже иезуит мне нравится

больше равнодушного попа, которому хоть трава не расти и который не перекрестится, пока гром не грянет.

– Это национальный недостаток, – сказал Климент.

– Это к учению церкви не относится, это исторические условия... Впрочем и у нас были ревнителю. Я теперь собираю материалы для составления книги об этих русских ревнителях последних веков.

Тут нас, я помню, прервали, но Климент не успокоился и на другой же день возобновил разговор.

Я сказал ему так:

– Вы видите, я подчиняюсь всему. Ум мой упростить я не могу. Я даю ему волю наслаждаться мыслями; это, может, конечно, отнимать время, но колебаний в основах веры не причиняет никаких. Я скажу вам один пример. У меня дома есть Философский Лексикон Вольтера. Однажды я прочел там статью о пророке Давиде. Вольтер доказывает, что в теперешнее время его признали бы достойным галер и больше ничего... в этом роде что-то... Я очень смеялся... Я люблю силу ума; но я не

верю в безошибочность разума... И потому у меня одно не мешает другому. Я точно также через полчаса после чтения этой статьи Вольтера, как и прежде, мог искренне молиться по псалтырю Давида. Мы все многого не понимаем. *Лучше я буду подчиняться всему чему угодно по вере, чем подчиняться хотя бы Вольтеру, Боклю или Дарвину по разуму.* Мой для меня дороже и милее всякого другого разума. Я ведь и крещусь, и в церковь хожу, и все стараюсь исполнять так же как любая из этих нищих старух, которые собираются из Козельска у ваших скитских ворот. Поэтому предоставьте мне бояться за все христианство и за весь мир, когда я вижу как глубоко потрясен католицизм, самый могучий, самый выразительный из охранительных оплотов общественного здания. Дайте мне свободу жалеть обо всех этих разнообразных монахах с капюшонами и в широких шляпах, о пышных процессиях, о красных кардиналах. Высшая поэзия и высшая политика связаны глубже между собой, чем обыкновенно думают. Отходит поэзия, отходит и государственная сила, отходит даже и глубина мысли. Не вы

ли сами недавно с завистью говорили мне, что у западных народов все было глубоко и выразительно. *«Все трещины с углублением».*

(Чтобы понять последние слова, необходимо здесь передать один анекдот про русского купца и немца, полкового командира. Купец этот когда-то приезжал в Оптину пустынь и жаловался, между прочим, на убытки и рассказал, что более всего убытку причинил ему один полковой командир немец. Купец ставил ему телеги. Полковой командир забраковал большую часть за то, что на дереве были трещины. Купец воскликнул: «помилуйте, ваше высокоблагородие, разве можно без трещин?» Но немец возразил: «нет, бывайт просто трещина, бывайт трещина с углублением», и отказался от телег. Отец Климент сам рассказывал мне этот анекдот именно по поводу того, что, как он сам сознавал, у романо-германцев все выразительнее, чем у славян. Он говорил об этом тогда с сокрушением сердца, так как себя считал совсем славянином по духу).

Увидав, что я пользуюсь его же оружием и привожу его же слова, отец Климент разгоря-

чился, начал говорить скоро, заикался даже, как это с ним нередко случалось, когда он был в сильном волнении, и едва-едва успокоившись продолжал так:

– Это правда. Я говорил это по поводу книги Pneumatologie Мирвиля. Да, я привел эти слова командира: трещина с углублением. Но слушайте, я прошу вас, внимательно, что я вам скажу: эта страстность, эта энергия, эта изобретательность и смелость ума, которыми отличаются люди запада, очень хороши и полезны во многих мирских делах, в государственном деле, в науке, в литературе. Но эта самая энергия и страстность были пагубны для европейца в религиозном отношении. Слушайте: со времени грехопадения первого человека дьявол тщится всячески совратить человечество с истинного пути. За первоначальным монотеизмом последовал ряд уклонений в многобожие, явились одна за другой все эти политеистические религии востока. Еврейский народ один боролся с нами во все время своего существования. После воплощения Сына Божия, политеизм стал невозможен, но злой дух с самого начала поспешил

вселить в церковь раздоры и ереси – арианство и так далее; вы это знаете. Гибла одна ересь, при помощи Божией, являлась другая. Против этих ересей и расколов боролась церковь одинаково и на востоке и на западе. В Испании арианство одно время очень усилилось. Западное духовенство ревностно боролось против него, оно было право; но по чрезмерной страстности и энергии своей западные народы не умели ни в чем найти должную меру – они все переливали через край. Нужно было возвысить второе лицо св. Троицы, так как ариане уничижали Христа и отрицали Его божественность. Западные люди не удовлетворились утверждением восточного догмата; они прибавили в пылу борьбы, что даже Дух Святой исходит «и от Сына», чтобы всячески Сына прославить. И еще: все христиане чтили как следует Божию Матерь, но восточная церковь никогда не признавала, что на Ней не было, как на других людях, скверны первородного греха – безгрешен только Бог; все святые грешили. Западные народы не могли остановиться на этом; они изобрели догмат беспорочного зачатия; они опять пере-

лили через край. Они стали увлекаться этим поклонением Богородице до того, что чтут Ее нередко выше самого Христа. Еще пример: никто не отрицает, что нужно чтить глубоко епископский сан, чтить святость сана даже и тогда, когда человек, носящий этот сан, лично недостоин и очень грешен. Это азбука христианства, без которой христианином нельзя быть. Никто не отвергал даже, что римский епископ, первый между равными, старший в среде других епископов. Его первенство готово признать и теперь православная церковь, если бы Рим отрекся от своих догматических заблуждений, но западные народы и здесь перешли границы. Они выдумали, что римский епископ не епископ, а нечто особое, папа, наследник Петра Апостола, что он непогрешим...

– Позвольте (перебил я его), позвольте... Я понимаю, что это неправильно, но я хочу проверить себя. Ведь и у нас есть непогрешимость; непогрешимость вселенских соборов в общих делах веры и непогрешимость местных. Мы должны верить, что Дух Святой править нашими соборами и синодами и внуша-

ет им решения независимо от того, каковы лично все или некоторые из влиятельных членов этих соборов, не смотря даже на кажущуюся нам несправедливость или мнимое несовершенство их решений. Богу известно, почему он собору внушил такое, а не иное решение... иначе без этой непогрешимости без этого рода веры могла ли бы церковь держаться?...

Отец Климент едва удерживался, слушая меня... Я не давал ему прервать себя, но едва я кончил, он воскликнул с жаром и краснея даже в лице.

– Эта разница между соборною и единоличною непогрешимостью очень важная, очень важная... вы должны понимать это... вы, я говорю (продолжал он, почти с гневом наступая на меня)... вы обязаны все понимать; если бы вы были дама какая-нибудь или... один из тех прогрессистов, которых мнения вы справедливо презираете... тогда можно бы это простить... Но вы должны понимать, что разница в догмате важнее всего для нашей души... без правильного догмата нет спасения; положим, наши великие стар-

цы Оптинские, отец Макарий, отец Антоний говорили всегда: быть может, Господь многих искренно верующих и правильно живущих католиков и протестантов будет судить снисходительно, потому что они не ведали истины, – но оправданы быть они не могут вполне. Это выдумка – будто православная церковь допускает спасете вне своего учения. Такого рода терпимость невозможна... Вне православия нет истинного спасения... Вы должны, вы обязаны знать и помнить это... Вы говорите о простых этих Козельских мещанках, которые побираются у нас, и что вы верите просто как они... Мы должны стремиться к простоте и незлобию сердца, а не ума. Козельской нищей простительна простота ума, а вы должны идти вперед в богопознании. Вы должны понуждать себя. Прекрасно восхищаться разными религиями и понимать ту долю истины, которая в них заключена; конечно, это нередко очень полезный первый шаг к обращению... Но нельзя на нем останавливаться, чтобы не стать добычей дьявола... Враг пользуется всеми нашими склонностями, всеми слабостями... и вот ваша любовь к

поэзии, которой, конечно, много; и в неправильных религиях даже в язычестве... она вредит вам в этом случае... Дьявол знает чем каждого из нас взять... Вы заметьте, – продолжал еще Климент, – что правильная нравственность не может даже процветать на неправильном догмате... Духовенство католическое слишком лукаво... И обвинения мирян в этом отношении основательны...

– Увы! возразил я, – все это так, но и наши духовные лица не чужды лукавства, когда дело идет о том, чтобы нажить побольше денег, или для монастыря собрать, или карьере сделать. А честные, добросовестные, понимающие истинный дух христианства, лучшие наши представители православия, каких я встречал больше между монахами, чем между белым духовенством, обремененным грубыми семейными и хозяйственными заботами, – уж слишком мягки, слишком честны, так сказать, слишком думают только о спасении души своей и разве о спасении знакомых им людей, но не ищут влиять на общество, не ведут упорной, горячей пропаганды в высших слоях русского общества. А умная, деятельная

пропаганда в высших слоях русского общества нужнее была бы чем проповедь алеутам и борьба со староверами, представляющими для России очень полезный тормоз... Уничтожая староверство, мы, так сказать, передвигаем хоть немного центр общей тяжести нашей справа налево.

Опять беспокойство для Климента, опять тревога за мое индивидуальное устройство, опять возгласы:

– Берегитесь... берегитесь... нехорошо... Надо чувствовать омерзение ко всем ересям и расколам...

Он не исправил меня, сознаюсь, – я все тот же; я не умею упростить себя так, как он упростил себя умственно; может быть, мы оба правы... Он был монах, – я мирянин; он был иерей, священник. Я духовного сана не имею; он, постригаясь в мантию, давал страшные обеты отречения и был связан ими, – я связан с миром, я имею дурную привычку писать, имею великое несчастье быть русским литератором... Это, конечно, большая разница. Другие обязанности, другая ответственность, иные впечатления, иная борьба... Он не изме-

нил моих взглядов; не уничтожил, не убил ни одного из пристрастий, вскормленных размышлениями над судьбами нашей общей отчизны и человечества. Трудно и было ему уничтожить что-нибудь в этих моих взглядах: он не мог по собственным убеждениям не чувствовать, что я говорю правду и о косвенной пользе раскола, как тормоза, без которого мы ушли бы еще дальше, и о том, что православная проповедь в высшем обществе и ученом русском кругу была бы полезнейшим из миссионерств, и о том, что католичество западное есть корень западного охранения.

Климент не мог заставить меня думать иначе, ибо видимо он соглашался со мной во всем этом с исторической точки зрения и вместе со мной готов был это все оплакивать...

Он тревожился чисто монашескою мыслью; он заботился о своей душе во всем этом хаосе медленного современного разложения и еще о душе ближнего, о моей душе... С этою целью он и в Москву и в Петербург, писал мне письма, убеждая помнить, что все ереси и расколы от дьявола....

Неужели он думал, что я перейду в другую веру? Разумеется, считать перемену веры низостью могут только неверующие или очень ограниченные люди. Кто понимает, что такое вера, тот, конечно, не сочтет низостью или изменой отечеству искренний переход человека по убеждению (или по заблуждению, все равно) в другое исповедание... Но он сочтет это великим несчастьем, с которым никакое другое несчастье сравниться не может. И Климент, я уверен, не мог бояться, что со мной случится подобное бедствие. Нет, он не думал, что я изменю православию. Он только хотел привлечь мое внимание на некоторую безбязненность моего ума, который не опасался даже и мусульманство хвалить и Коран читать с удовольствием. Ему хотелось поднять меня все выше и выше на лестнице христианского одухотворения; ему хотелось, чтоб я боялся всего подобного, чтоб я боялся даже и невинных сочувствий еретическому, как бояться легких порывов злости, гнева, сладострастия, чтоб из легких они не стали тяжелыми или даже, чтоб и легкие эти движения чувств и мыслей не сквернили души его друга, име-

ющего скоро, быть может, предстать пред суд Божий... Он сам был так духовен по образу мышления своего, что, мне кажется, умственной ереси он должен был трепетать гораздо больше, чем всех возможных нравственных падений и даже глубоких пороков, ибо они исправимее ложных и вместе с тем искренних убеждений.

Вот, чтобы характеризовать полнее Климентя, я невольно должен был упомянуть тут и о себе. Подобными беседами он заставлял меня нередко рассматривать предметы веры и жизни с новых сторон и привлекал мое внимание на то, на что оно еще ни разу не обращалось... Этим он сделал мне много добра.

Не мне одному старался отец Климент сделать добро.

Я помню также, между прочим, сколько душевной пользы он сделал и сколько утешений доставил одному молодому греку[26], простому слуге по званию, но очень способному, развитому умом и до крайности впечатлительному. Этот молодой человек верующий, простодушный (вопреки Несторовской фразе: «все греки льстивы до сего дня»), ум-

ный, но в то же время практически бестолковый, малодушный изменчивый до невероятия, впадал беспрестанно в уныние, отчаяние, почти что в безверие от большого самолюбия и бедности своей. Нужно было видеть, как отец Климент заботился о нем, когда он приезжал со мной гостить в Оптину пустынь, Отец Климент говорил прекрасно по-новогречески: он приходил сам ко мне нарочно для этого грека, смеясь и шутя заговаривал с ним по-гречески, то подкреплял его дух самыми отвлеченными богословскими беседами (слуга этот понимал отвлеченные вещи), то ободрял его шутками на эллинском божественном языке, смеялся сам, острил, говорил ему даже что-то стихами, восхищал его своими познаниями и своим грекофильством. Никогда никого не исповедуя и страшась даже быть духовником, по искренности своего духовного смирения, отец Климент решился для этого иностранца сделать исключение; он сам попросил позволения у своего старца исповедывать этого грека на греческом языке. (хотя тот мог почти все объяснить кой-как по-русски). Отец Климент знал до чего это утешит рас-

строенного юношу. И надо же было видеть, как повеселел и как надолго ободрился молодой человек после этой исповеди! Я говорил, что грек этот, хотя самоучка и простой крестьянин из Эпирских гор, был способен к отвлеченному мышлению и богословие понимал. В один из приездов своих в Оптину пустынь он впал в нестерпимую тоску и раздражение... Я, зная его характер, посоветовал ему читать что-нибудь духовное. На этот раз и это не подействовало. К нравственным тревогам прибавились, как нарочно, и теологические сомнения. Для того чтобы почерпать практические правила и пригодные для наших личных и частных чувств и обстоятельств утешения из духовных книг, нужно непоколебимо верить во все главные основы учения. Какую же личную отраду может извлечь человек из аскетических наставлений, когда он, как нарочно, вдруг тут же, при чтении, начинает сомневаться в догматах, в чудесах и т. п.? С бедным единоверцем нашим случилось именно такое несчастье. Философские искушения усугубили его сердечную тоску. Он заговаривал об этом со мною. Сколько я ни старался его

успокоить, я видел, что речи мои, духовным авторитетом в его глазах не согретые, действуют слабо, и я повел его с собой к отцу Клименту. Отец Климент был чем-то занят и озабочен; мы, кажется, ему помешали; так показалось мне по недовольному выражению его лица в первую минуту. Но едва только я сказал в чем дело, нужно было видеть, как встрепенулся он, как забегал, как обрадовался случаю принести человеку духовную пользу, как изменилось и просветлело его приветливое лицо! Он кинулся искать книги, он не хотел говорить «свое», отыскал не помню какой греческий фолиант, разложил его с торжествующим до наивности видом, отыскал, по бывшей уже заметке, одно место и прочел его греку. Затем указал на Иоанна Дамаскина. Действие его речей было совсем иное, чем действие моих. Угрюмое и горькое настроение молодого человека мгновенно исчезло... Оно исчезло еще прежде чем начал говорить отец Климент... Только что он еще улыбнулся, произнеся первое слово, грек начал уже почти хохотать от радости как ребенок, озираясь на меня, чтобы видеть разделяю ли я его вос-

торг... Я разделял его. После этого грек стал читать спокойно творения св. отцев, говел и утих надолго.

Я, припоминая этот незначительный случай, всегда вижу перед собой доброе, честное, умное, немецкое и белокурое лицо этого человека. Я улыбаюсь, вспоминая как он именно кинулся искать фолианты. Эту готовность, эту заботливость, эту ревность, видную в мелочах, отец Климент обнаруживал часто, иногда, быть может, даже и слишком. Примеров много я видел сам. Мне могут возразить, что этот рассказ о сношениях отца Климента с молодым греком несколько противоречит тому, что я сказал прежде о неспособности Зедергольма быть старцем-руководителем. В этом случае он, конечно, не только убеждал, объяснял или проповедовал, он утешал и руководил, действовал на сердце, волю, а не на один ум. Конечно, это так, но этот случай исключение. Старец прежде всего должен быть спокоен сам, по крайней мере, с виду. Пусть у старца совершается в душе общечеловеческая борьба; и у него бывает, как у других людей, духовник (иногда несравненно низкий его по

уму и жизни), пред которым он может изливать свои тайные скорби; но для духовных чад своих старец должен являться невозмутимым. Он должен быть подобен терпеливому и проникнутому любовью к науке своей врачу, который, сам страдая какою-нибудь несносною болезнью и сознавая ее серьезность, принимает все-таки больных ласково и внимательно. Отец Климент был слишком горяч, слишком требователен и вспыльчив для этого. Мне кажется, что и преклонные года не изменили бы его в этом отношении. Годы ослабляют другого рода страсти. Но раздражительность и беспокойный нрав не только мало уступают влиянию лет и недугов, но, напротив того, нередко усиливаются под конец жизни.

Нет! этот усердный слуга церкви, этот ревностный учитель, этот благородный страдалец о Христе руководить и поддерживать других спокойно не умел. Расскажу еще один случай из его жизни. Я познакомился в Оптиной с одним помещиком; мы там гащивали с ним не раз. Подобно мне, этот помещик был в торговле от Зедергольма. Он тоже кончил курс в

университете, был сверх того человек начитанный, но к половине жизни своей, отстранив всякое «лжемудрие», сказал себе: блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Ему до невероятия приятно было встретить в Оптинском монахе человека своего общества, своих понятий, своего воспитания... человека, который, точно так же как и мы все, читал смолоду Гоголя, Пушкина, Шиллера и Гёте, переживал то, что и мы переживали, который (как замечал довольно удачно этот помещик) «улыбается даже именно там, где нужно, там, где мы улыбаемся!..» Подобно мне, этот Оптинский гость любил подолгу беседовать с Климентом и требовал, чтобы тот сам непременно руководил его. Напрасно Климент уговаривал его почаще в скорбях и сомнениях обращаться к настоящим оптинским духовникам, напрасно уверял его, что они скорее его утешат и успокоят. Помещик, при всей своей набожности, все-таки был более душевный, чем духовный человек. Ему все казалось, что настоящие-то духовники именно и не поймут всех оттенков его сомнений и страданий, тогда как московский магистр все это

разберет и рассудит. Он ходил и к духовникам, прибегал к ним изредка, когда ему становилось уж слишком тяжело, или когда Климент почти насильно гнал его к ним; но был все чем-то недоволен, тяготился и страдал. – Горестей домашних у него было много, прошедшее его было бурно, настоящее печально; он не мог долго быть без Оптиной, но с другой стороны готов был всякий раз с радостью бежать из нее... Я его видел очень часто больным, смущенным и взволнованным.

Недавно мы встретились еще раз. Климент был уже в могиле. Это было великим постом. Я заметил, что при Клименте этот помещик бывал в церкви правильнее и чаще. Теперь же он то по целым неделям не ходил в церковь, то являлся туда по два раза в день и более, выстаивал много и продолжал так поступать по несколько дней подряд. При этом он был заметно веселее и покойнее. Мы шли однажды вместе по скитской дорожке. Могила отца Климента, занесенная снегом была видна налево.

Помещик остановился и сказал мне:

– А знаете ли вы, что без него мне стало

легче в Оптиной... Как он, бедный, был прав, когда посылал меня к *старцам*. Он не умел обращаться со мной, он требовал от меня слишком много. Он доводил меня почти до слез... Сердился на меня... Однажды он меня назвал «неблагодарным» за то, что я, изнемогая от болезни и уныния ушел прежде времени из церкви. По внутреннему моему чувству мне пробыть в церкви и один час казалось в этот день подвигом, мучительным распятием плоти; а он на другой день сделал мне за это сцену... Правда, я тогда счел себя неправым и попросил прощения, и он смутился и тоже, как будто, покаялся предо мной. Но я тогда этот поклон принял за обязательный формализм, за «смирение» это... знаете... Но только теперь, нынешний год я понял ясно, что вина моя была в том, что я не слушался Климента и не шел к тем, к кому он меня посылал. Он был искренний человек, и видел сам, что не умеет быть старцем... Он мучил меня и мучился сам... А я упорствовал... Правду говорят монахи, что монашество есть «наука из наук». Тут есть такие оттенки, которые нам и в голову не придут. Вот, например, на первой

неделе поста, в понедельник, я отстоял часы охотно, но к длинной вечерне мне ужасно не хотелось идти, Мне хотелось лучше дома одному почитать что-нибудь духовное... Однако, помня Климента, я пошел. Не отстоял я и часу, как скука и усталость мои дошли почти до злости. Я не молился. Уйти мне было стыдно, оставаться несносно. Наконец, я рушился подойти к скитона начальнику (к тому именно духовнику, к которому меня так часто *знал* Климент) и потихоньку сказал ему всю правду. Он тотчас же с ласковым видом благословил мне идти домой и сказал: «Бог желает доброхотного дателя. Лучше идите домой с миром и будьте покойны духом. Господь видит ваши немощи и знает ваше усердие! И вперед всю первую неделю поста ходите в церковь только раз в день, – или к часам или к вечерне. Тогда не будете озлобляться». Я так обрадовался этому спокойному и ласковому слову скитона начальника, что остался еще уже охотно, кажется, целый час, а потом утешенный и веселый отправился домой. Уходя, я должен был зайти в маленькую келейку монаха, живущего при церкви, чтобы взять там

свою шубу. Вошел и вспомнил тотчас, как два года тому назад случилось со мной то же самое. Я изнемогал и в тоске и в унынии вышел сюда и сел. Вдруг передо мной явился отец Климент. Он пожалел, понял, что я страдаю и пришел меня утешить и ободрить. Доброты в этом было много; вы сами знаете, он был строгий формалист и ему выйти прежде срока из церкви было нелегко. Это была жертва дружбе. И что же? Вместо утешения, он слово за словом увлекся, разгорячился и чуть-чуть было не наговорил мне неприятностей... Я осмелился не то, чтобы пороптать... о! нет... я еще и не начал роптать, а он уже вообразил, что вот-вот я сейчас заропщу, вспыхнул в лице, начал заикаться и поскорее ушел от меня... А я отправился к себе. Вот что значит беспоконный характер! Такому человеку не дана сила старчества. Вообразите себе еще, что на другой день он пришел ко мне и сказал, снимая передо мной клобук и по-мирски кланяясь: «Будьте так добры, если для своей души не хотите поусердствовать, то сделайте это для меня, из дружбы. Сегодня вечером приходите на бдение из первых и выйдите послед-

ним из церкви. Пробудьте все четыре часа в церкви; сидите, дремлите, если хотите, только не оставляйте храма Божия до конца... Я прошу вас, сделайте это для меня. Я тоже немощный человек; мне стыдно пред монахами; они скажут: вот Климент все нянчится с N, а тот его не слушается. Прошу вас!» И опять поклон. Я, скрипя сердце, согласился, обещал и исполнил; пришел прежде многих монахов, половину бдения сидел и ушел последним. Климент служил в этот вечер сам. Он кадил мне серьезно, и прочесть невозможно было на лице его в эту минуту ничего. Но на другой день он смеялся, ликовал.

– Напрасно вы хвалите меня, – сказал я ему полушутя, полу сердито. – Я сделал это не столько из ревности по Боге, сколько в угоду монахам. ...Бог милостив, а монахи жестокосерды... Отец Климент воскликнул: «Ну что ж, и это хорошо! Пойдите, я вам дам рахат-лукума за то, что вы умеете ладить с монахами.

– Вообще он до того усердно заботился обо мне, – прибавил помещик, – что я в иные недели трудных служб просто боялся его... И уверяю вас, что мне без беседы его скучнее в

Оптиной, а без вмешательства его в мое поверьте легче...

– Послушайте, однако, – возразил я. – Простите, но это в самом деле неблагодарность...

Собеседник мой наклонил голову и ответил:

– Что делать! Это невольное чувство... Я сам был виноват, что, не слушаясь его тогда же, не ходил чаще к другим и доверялся более университетскому воспитанию и светскому образованию, чем действительному опыту и духовному разуму.

К хорошему, искусному начальствованию отец Климент тоже обнаруживал мало способностей. Положим, что эти свойства внешней распорядительности он мог бы со временем легче приобрести, чем силу внутреннего руководства; начальником он мог стать добросовестным, твердым в долге своем, но едва ли бы он стал, когда бы то ни было, начальником популярным. Для этого нужно иметь больше спокойствия и той искусственной, пожалуй, скажем даже иногда притворной самоуверенности, которой он бы никогда, вероятно, не достиг. Хороший начальник мо-

жет помучиться сомнением в пользу своих распоряжений, но надо, чтобы подчиненные как можно меньше видели эту муку. Пусть начальник смиряется и мучается пред Богом – это его обязанность. Но пусть подчиненные верят, по возможности, в его правоту, видя его спокойным, кстати кротким и ласковым и кстати гневным. Отец же Климент был в вечном волнении. По усердию своему, по душевной любви к «младшей скитской братии» он вмешивался в дела скита, не имея к тому прямой должностной обязанности, был чем-то в роде благочинного по призванию, но все замечания и выговоры его были резки, слишком горячи; взволновавшись сам до нельзя, он поднимал целую бурю и, отягощая молодежь, или оскорбляя новоназначенных, цели достигал редко. Его боялись, конечно, слушались до известной степени, но нередко тяготились и, надо правду сказать, не очень его любили. Любили его крепко только те, которые его *понимали*. А такого понимания характера сложного, ума весьма развитого, души страдальческой и бурной, вечно ищущей спокойствия во Христе, вечно собою недоволь-

ной, вечно усердствующей и вечно болезненно кающейся, такого понимания как ждать от тех простых русских людей, из которых большею частью набираются монастырские послушники и новоначальные монахи? Один из них юноша, сынок купца уездного, другой тоже юноша, крестьянин, едва знающий грамоту, третий, тоже молодой, сын бедного чиновника, читавший в миру только «Битву Русских с Кабардинцами и Гуак или непреоборимая верность». Четвертый, старый, отставной дьячок, который в миру никакого характера, кроме характера своей дьячихи, не изучал. Все люди русские, беспорядочные по природе, неопрятные по привычке, рассеянные, не очень исполнительные, хотя и добрые, верующие, честные. Они жаловались, например, что отец Климент не умел быть ласков с ними, никогда даже не шутил. А на это была простая причина. Климент был очень добр, очень чувствителен, очень жалостлив даже; он их всех от души любил уже за одно то, что они *есть Опти́нские*, дети и слуги той обители, за которую он готовь был отдать жизнь свою; но, не сознавая в себе настоящей адми-

нистративной ловкости, не чувствуя себя в должной мере самоуверенным внутренне, он боялся фамильярности. Где же было понять эти тонкости его характера доброму и бедному отставному дьячку, который сердился на отца Климента за то, что тот не позволял ему много сидеть в церкви на бдениях, или неопытному юноше, читателю Гуака, тоже не раз испытывавшему на себе, что значить пыл Климентовых увещаний.

Замечу еще здесь кстати, что чрезмерная прямота и горячность отца Климента создавали ему нередко недоброжелателей и в миру и в среде духовенства. При всем своем искании смирения и покорности, он и с равными и с высшими не всегда соглашался и часто высказывал правду. Умолчать в иных случаях было для него страданием.

VIII

Смерть отца Климента была почти внезапная, никем неожиданная.

В св. Синоде его имели в виду для какой-нибудь высшей должности. Он сам о монашеской карьере нисколько не заботился. Он был самолюбив; но добросовестность, прямота и тот страх греха, о котором я говорил прежде, были в нем сильнее всяких еще не угасших вполне страстей. Страсти и всякие чувства могли волновать его, но при помощи любимого старца и духовника, при постоянной усердной молитве, борьба всегда кончалась победой честного инока над плотским еще человеком...

Для карьеры он шагу для себя сам не позволил бы никогда сделать, не только по страху Божию, но еще по той сильной привязанности, которую он имел к старцу своему, известному отцу Амвросию. Всякая начальническая должность на стороне разлучила бы их, а Климент даже погулять по лесу или прокатиться в тележке не дерзал без благословения старца. Говорят, что он считал сам себя до то-

го «непотребным и слабым» монахом, что постоянно молил Бога не оставлять его одного на земле без отца Амвросия. Годы его были еще не велики, и он более всего боялся пережить своего, давно уже недужного и стареющего, руководителя. Как же мог такой человек искать карьеры? Но прошлою весной, незадолго до болезни его, пришло ему предложение принять должность игумена в одном из второстепенных монастырей Калужской губернии.

При этой вести началась у отца Климента мучительная борьба. Как расстаться с духовным воспитателем своим, оставить этот милый его сердцу скит, где он желал всегда жить и умереть; этот домик, эту келью, построенную дорогим его памяти графом А. П. Толстым, эту братию, этих товарищей поста, безмолвия, молитву, эти ели темные, эти дорожки скита, цветы, разведенные самим великим старцем Макарием, которого он еще сподобился застать в живых.

Но с другой стороны чувство особого рода смирения шептало ему: «Уверен ли ты, что ты уже настолько высок и бесплотен устройением

своим, что не пожалеешь после, зачем отказался от власти, от более широкой деятельности на пользу церкви? Желание скромной и безмолвной жизни *навсегда*, не есть ли высшая степень самоуверенности? Не опаснее ли гордость духовная этого рода, чем простое и смиренное сознание: «да! я еще тщеславен, и мне, может быть, власть и значение будут приятны, особенно когда я не искал их сам?»

Таковыми мыслями терзался отец Климент по поводу предстоящего назначения своего, и даже старец любимый не мог вдруг утешить и уничтожить эту скорбь и эту бурю. Но то, чего не мог разрешить на этот раз даже и старец, разрешил сам Бог.

Климент весной внезапно заболел какою-то острою болезнью и умер.

Болезнь его сначала не была понята, хотя лечил его врач, считавшийся весьма хорошим. В Оптиной пустыне есть свой собственный врач, пожилой монах из настоящих и опытных медиков, человек кончивший в свое время курс в Московском Университете. Этот медик-монах с самого начала говорил, что у отца Климента воспаление легких, но посто-

ронный врач был с ним не согласен и покаялся в своей ошибке только за день, кажется, до кончины пациента.

Всегда очень требовательный, как мы уже знаем (потому что сам был аккуратен и во всем толков), отец Климент во все время последней болезни стал удивительно терпелив и кроток.

После свидания с новообращенным немцем, который его так развеселил и ободрил на минуту своим посещением, отец Климент опять лег и утих...

Уже заранее исполнив все требования веры, особоровавшись и причастившись еще прежде, он, почти уснул без страданий, припав ко груди любимого и преданного келейника.

Я в это время был в Москве и ничего не знал. Недели чрез две-три, в самом начале мая, я приехал в Оптину. Всю дорогу я думал об отце Клименте и собирался даже прочесть ему знаменитое стихотворение Альфреда-де-Мюссе «L'espoir en Dieu». Мне хотелось знать, что он скажет об этом превосходном произведении, где все нападки на безверие,

на практическую бесплодность философии, так правдивы и блистательны...

Было так приятно ехать в Оптину пустынь в то прекрасное время года! Зеленая и ровная, влажная и широкая Россия наша в этот весенний месяц так хороша! Я приехал, вошел в гостиницу; мальчик мел номер, и когда, я спросил о его об отце Клименте, он с детским равнодушием и даже с веселою улыбкой отвечал: «отец Климент умер!»

Ни в чем неповинный мальчик этот в ту минуту показался мне неприятным. Я пошел в скит.

В скиту есть одна боковая дорожка. При начале ее стоит широкая, очень развесистая липа. Подальше виден большой деревянный крест с выпуклым, довольно грубо сделанным Распятием; это не могила; это Распятие обозначает место маленького скитского кладбища. Около Распятия целый ряд дерновых валиков и чугунных плит. Это все в разное время умершие иноки и послушники скита. Здесь могила монаха, из помещиков (Огиевскаго), тут памятник над иноком, поступившим в Оптину еще во времена Наполеона I,

там купец, дальше диакон и еще купец, вот несколько крестьян... Под липой погребен отец Александр Лихарев, в меру – гвардеец, когда-то предводитель дворянский и лидер, окончивший жизнь свою тоже монахом. Все эти могилы были не новые и коротко знакомые мне; дерн на них оброс давно густою травой. Но по другую сторону креста я увидел могилу новую. На ней прежняя трава была суха и низка, а свежая еще не выросла: все эти края правильно срезанного дерна, эти могильные швы так выразительно зияли... Это была могила моего бедного друга! Я не мог ни плакать, ни сокрушаться. Сердце мое было также сухо, как эти жесткие края сухого дерна, еще не обросшего новою травой. Каюсь, я был скорее в негодовании, чем в истинной скорби.

Напрасно я даже вспоминал прекрасное слово протоиерея Сергиевского у гроба, тоже почти внезапно умершего, П. М. Леонтьева... «Смерть есть таинство; если бы человек умирал всегда в глубокой старости, при постепенном истощении сил, тогда смерть можно было бы понять как простое явление физиче-

ской природы... Но эта смерть человека исполненного еще сил и деятельности!..»

Все это так, но моему сердцу не было легче, и стало легче много позднее...

Я хотел бы насильно подчиниться взгляду монахов, из которых столь многие жалели о том, что не видят больше Климента, но прибавляли всегда: «видно для него-то так лучше. Господь, видя усердие его, призвал его. Быть может дальнейшая жизнь и начальствование не были бы ему для его души полезны!..»

Я хотел по разуму и не мог по сердцу очень долго подчиниться этому суждению. Наконец и я стал понемногу соглашаться с этим. Желание написать биографию отца Климента заставило меня больше и больше спрашивать о нем; и все, восхваляя его усердие, его веру, его ум, его искреннюю и горячую доброту, указывали однако на ту непомерную впечатлительность его и вспыльчивость, о которой я уже столько говорил; она терзала гораздо больше его, чем тех, на кого он сердился. Обдумывая все эти вещи, слыша все эти рассказы о нем с других сторон столь похвальные, я стал думать: «как мог бы стать покой-

ным начальником монах, столь строгий ко своему внутреннему миру и вместе с тем такой тревожный в сношениях с людьми?»

Так думают в Оптиной, когда речь идет о духовной пользе покойника; но совершенно иначе относятся к его смерти те же люди, когда говорят об утрате, понесенной монастырем и, может быть, церковью вообще.

Утрата эта очень велика.

Мне часто приходится теперь зимою, когда я приезжаю в Оптину пустынь, проходить мимо той дорожки, которая ведет к большому деревянному Распятию маленького скитского кладбища. Дорожка расчищена, но могилы занесены снегом. Вечером на Распятии горит лампадка в красном фонаре, и откуда бы я ни возвращался в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте и знаю, *что такое там, около этого пунцового, сияющего пятна...* Иногда оно кажется кротким, но за то, иногда, нестерпимо страшным во мраке посреди снегов!.. Страшно за себя, страшно за близких, страшно особенно за родину, когда вспомнишь, как мало в ней таких людей, и как рано они умирают, не свершив и половины воз-

МОЖНОГО...

К. Леонтьев.

Примечания

Зедергольм был в Московском Университете на филологическом факультете.

[^^^]

2

Борис Николаевич Алмазов. (Прим. Составителя).

[^^^]

Тертий Иванович Филиппов (24 декабря 1825 г. – 30 ноября 1899 г.). Государственный контролер, сенатор, епитроп Гроба Господня. Покровитель, жертвователь и искренний друг Оптиной пустыни. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры. (*Прим. Составителя*).

[^^^]

13-го. Сего числа Константин Карлович Зеде-гольм присоединен к Православию в скитской церкви Протоиереем Козельского Собора в присутствии о. Архимандрита и Батюшки. Первый раз мне удалось видеть этот обряд, и подобно всем присутствовавшим, я не мог предстоять ему без волнения чувств! Так он трогателен и величественен при всей простоте своей.

Действие начинается в притворе храма. Обратясь лицом к Западу, новообращенный отрекается от заблуждений своего прежнего верования, потом читает вслух те догматы Православия, в которые обязуется верить особенно при присоединении к Православию (т. е. те, которые отвергнуты в лютеранстве), как то: Таинство Евхаристии под общими видами, и Пресуществление Даров; Таинство Миропомазания, Елеосвящения, Священства и Брака, призывание молитвенной помощи Угодников Божиих и почитание их мощей, почитание Святых Икон... Потом читает Символ Веры и после сего вводится в Церковь и

поставляется пред аналоем посреди Церкви, где целованием Святых Евангелия и Креста еще раз подтверждает клятвенно, что до кончины своей жизни будет хранить догматы и уставы Православия, предавая еще раз анафеме лютеранские заблуждения.

Приятно было видеть, с каким чувством и твердостью духа новообращенный произнес отречение от лютеранства и исповедание Православной веры... Затем совершено было над ним Таинство Миропомазания. Все присутствовавшие с чувством заключали раба Божия Константина в объятия, торжествуя дарованную ему Богом победу над заблуждением, желая, чтобы он укрепился на спасительном пути... Батюшка заплатил соборному причту 10 руб. серебром от себя.

По рассказам Константина Карловича, отец его родом из Финляндии, у него несколько сыновей, все на службе. Константин Карлович – самый младший. Изучение русских писателей ознакомило его с Русским духом, чему, без сомнения, также немало способствовало и вообще воспитание в Московском Университете, где все еще тлеется искра духа

сего. Особенно воодушевлен он Гоголем, и «переписка с друзьями» была началом его обращения к Православию, как сам он говорил мне.

Присоединение происходило между ранней и поздней обедней. За поздней обедней Константин Карлович приобщился Святых Таин, а в пятницу еще раз причастился с нами, а в Воскресенье, отслужив в Скиту благодарственный молебен, уехал обратно в Москву, унося в сердце, как он сам исповедывал всем, самое искреннее воспоминание о нашей обители. Да и кто и где бы принял и обласкал его так, как наши Старцы, – это поистине первый знак благоволения Господня его обращению, что оно совершилось у нас. (*Прим. Составителя*).

[^^^]

П.В. Киреевский

[^^^]

Саломон Петр Иванович (19 ноября 1819 г. – 9 марта 1905 г.). Член Государственного совета, сенатор, в 1860-х годах занимал должность директора канцелярии Святейшего Синода. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры. Постоянными богомольцами и благотворителями Оптиной являлись и другие члены семейства: Поликсения Васильевна, Евгения Владимировна, Евдокия Петровна Саломон. (*Прим. Составителя*).

[^^^]

Церковная собственность.

[^^^]

Отец Климент подразумевает здесь грузина, отца Илариона отшельника, о котором он говорит дальше.

[^^^]

Примеч. автора. Разумеется с тех пор очень многое изменилось в эти двадцать два года. – Сила перешла на сторону болгар, явно нарушавших церковные правила.

[^^^]

Александр Петрович Толстой. (*Прим. Составителя*).

[^^^]

Об этом восстановлении я не имею под рукой верных справок, но говорю это со слов покойного отца Климента; вообще Зедергольм, как человек очень строгий в православии, всегда, до конца жизни крепко стоял за авторитет Великой Цареградской церкви.

[^^^]

Башня, обыкновенно на берегу моря, отдельная от монастыря.

[^^^]

Вероятно по отсутствию всякой растительности.

[^^^]

Главный духовник русского Пантелеймоновского монастыря на Афоне.

[^^^]

В то время, о котором здесь идет речь, паши имели право казнить. Впоследствии это право было у них отнято, по крайней мере, на мирном положении.

[^^^]

Впоследствии игумен Пантелеймоновского монастыря, а в то время второй духовник русской братии.

[^^^]

Кроме основных изменений, введенных католичеством, есть еще много второстепенных уклонений, которые очень хорошо объяснены и изложены в книге отца Владимира, бывшего аббата Гетте: *Изложение православного восточного исповедания*.

[^^^]

Я пишу это на память, не имея здесь сочинения Хомякова.

[^^^]

О. Климент Зедергольм. «Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Леонида (в схиме Льва)». 1876 г.

Переиздано Козельской Введенской Оптиной пустынью в 1991 г. (*Прим. Составителя*).

[^^^]

Исповедание помыслов на коленях, в знак смирения – древний христианский обычай (смотри Лествицу. Сл. 4, гл. 62, 34).

[^^^]

Это бывает и в литературе светской. Никто и нигде до сих пор не мог передать Фауста так, как переданы, например, некоторые произведения Шиллера Жуковским, то есть так, что они в русском переводе не хуже и не слабее подлинника.

[^^^]

Архим. Ювеналию (Половцеву). Сочинение это теперь уже вышло в свет. Оно озаглавлено так: «Жизнеописание настоятеля Козельской Введенской Оптиной пустыни, архимандрита Моисея. Москва, 1882 г.

Переиздано Козельской Введенской Оптиной пустынью в 1992 г.

[^^^]

По этому поводу я вспоминаю два случая, два суждения его о двух отшельниках. Один из них был Оптинский; он никогда, несмотря на предложения игумена, не хотел постричься и так и умер простым послушником, живя постоянно один в лесу, в самой убогой обстановке. Он говорил: «на что мне пострижение? Я и так все с одним Богом здесь!» Отец Климент с восторгом говорил об этом человеке, рассказывал мне с чувством, до чего он сжился с природой, как дикие птички по одному его зову садились на его руки, плечи и голову... Отец Климент видимо завидовал этому отшельнику; завидовал не в худом, а в хорошем смысле этого слова, т. е. желал бы сам быть ему подобен, но не мог. В этого рода рассказах и суждениях выражалось презрение отца Климента к комфорту и к собственным привычкам более утонченного быта. Другой инок (в суждениях о котором видно было у отца Климента, напротив того, невольное желание простора и удобств) жил не здесь, а в ином, дальнем монастыре. Он был дворянин, обра-

зован, богат, но удалившись в обитель вследствие семейных огорчений, построил себе чрезвычайно тесную, очень темную и низкую келью и жил в ней, окруженный большой библиотекой, в которой вместе с духовными книгами находилось и множество светских сочинений. Отец Климент, познакомившись с этим монахом, очень жалел о том, что он не имея около себя хорошего наставника, впал относительно обстановки своей в большую ошибку. «Келью, жилище, говорил отец Климент, надо бы ему было построить себе более сообразное с его прежними привычками; эта теснота и этот мрак ужасны. Но Байрона и французские романы можно было бы и не привозить с собой в монастырь... Такое чтение вредит неутвержденному монаху, а пере-силивать сразу свои телесные привычки и непомерно стеснять свое жилище тоже неосторожно... Это наводит уныние, а за унынием следует много худого. В великопостной молитве «Господи и Владыко живота моего» у греков следует: «дух праздности, любопытства и т. д.» В славянском же переводе: «дух праздности, уныния и т. д.» У греков указыва-

ется на источник; у нас предпочли указать на результат. Если мы в праздности нашей увлекаемся ненужным любопытством, например, начинаем читать вовсе нас не касающиеся книги, то это ведет непременно к унынию... Изменение, внесенное в эту молитву переводившими чрезвычайно глубокомысленно. И все эти мысли пришли мне в голову, при виде мрачной, тесно кельи отца Д. И при взгляде на любовные поэмы, которые стояли у него на полках. Мне стало его очень жаль!»

[^^^]

В скитской летописи записано:

«1858 год. 8 февраля. Суббота. В ночь под 8-е прибыл в Оптину из Москвы сын лютеранского пастора столицы, Максимилиан Карлович Зедергольм, брат Константина Карловича. Г. Максимилиан Зедергольм состоит на государственной службе помощником члена Самарского отряда управления денежных сборов. Прежде, по письменному сношению со старцем, отцом Макарием чрез брата своего, Константина Карловича, а теперь и лично он просил удостоить его присоединения к Православной Церкви, что и было совершено тут же, безотлагательно, по случаю нахождения его на службе. Чрез посредство старца, о. Макария и о. Архимандрита Моисея прибыл в скитскую церковь Козельский протоиерей, Василий Онисимович Сахаров, и в 12 часов, по Литургии, совершил присоединение и миропомазание. 9 числа новоприсоединенный Максим Карлович удостоен причащения Св. Таин Христовых в скитской церкви и отправился в путь с миром». (Прим. Составителя).

[^^^]

Об этом он подробно рассказывает в своем письме к брату (см. *Приложение*).

[^^^]

По всей видимости Леонтьев имеет в виду своего слугу – Георгия, грека по происхождению. (*Прим. Составителя*).

[^^^]